



ლიტერატურა

გეოგრაფია

7

1976

Литературная Грузия

Ежемесячный
литературно - художественный
и
общественно-политический
журнал



Орган Союза писателей Грузии

7
ИЮЛЬ

19 ИЗДАТЕЛЬСТВО 76
ЦК КП ГРУЗИИ



«ლიტერატურნაია გრუზია»

საქართველოს
წიგლიერთა კავშირი

(რუსულ ენაზე)

ქველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული
და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ურნალი

გამოდის 1957 წლის ივნისიდან

№ 7

თბილისი, 1976 წ.

საქართველოს საბჭოთა მწერლების კავშირის ორგანო



Издается
с июня 1957 года

Главный редактор
Георгий ЦИЦИШВИЛИ
Редакционная

коллегия:

- Тенгиз БУАЧИДЗЕ,**
- Гиви ЖВАНИЯ,**
- Марк ЗЛАТКИН,**
- Исидор КОЗАЕВ,**
- Георгий ЛОМИДЗЕ,**
- Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ,**
- Владимир МАЧАВАРИАНИ,**
- Михаил МРЕВЛИШВИЛИ,**
- Гурам ХАРАИДЗЕ**
(заместитель главного редактора),
- Владимир ХОМУТОВ**
(ответственный секретарь),
- Эммануил ФЕЙГИН.**

АДРЕС РЕДАКЦИИ

380008, ТБИЛИСИ, ул. ЛЕНИНА, 5.

- Приемная — 99-06-59
- Главный редактор — 93-65-15
- Заместитель главного редактора — 93-13-57
- Ответственный секретарь — 93-31-28

ОТДЕЛЫ

- Отдел прозы и очерка
(редактор КОРИНТЭЛИ К. Н.) — 93-31-43
- Отдел поэзии и искусства
(редактор ЗИНИНА В. Б.) — 93-31-43
- Отдел критики и публицистики
(редактор ДОБРОДЕЕВА Л. Т.) — 93-65-19



Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются.

Содержание

ПЕРЕДОВАЯ

- К НОВОМУ РАСЦВЕТУ! (К постановлению ЦК КПСС
«О ходе выполнения партийной организацией Грузии
постановления ЦК КПСС об организаторской и поли-
тической работе Тбилисского горкома партии») . . . 5

ПОЭЗИЯ

- ОТАР ЧИЛАДЗЕ. Белое поле. «И реющие над водой
мосты...». Цыгане. Целый год. Тень. Странствующий
остров. Железное ложе. Перевод Владимира
Леонovichа 6
- СЕЗМАН ЭРТАЦМИНДЕЛИ. Из лирики военных лет.
Перевод Виктора Широкова 12

ПРОЗА

- ВАНО УРДЖУМЕЛАШВИЛИ. Преображение. Роман.
Окончание. Перевод Маргариты Гржендзица 13
- ТЕЙМУРАЗ МАГЛАПЕРИДЗЕ. Жажда. Роман. Про-
должение. Перевод Нодара Тархнишвили. . . 25
- АЛИ ИСАЕВ-АВАРСКИЙ. Дагестанские вечера. Пере-
вод с аварского Камиллы Коринтэли. . . 47

ОЧЕРК

- ВЛАДИМИР ГОГОЛАШВИЛИ. Как дела, Ния-Гру-
зинская? 55

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

МИХАИЛ ЗАВЕРИН. Человек, творящий мир . . .	60
АНАИДА БЕСТАВАШВИЛИ. Город Айя и его обитатели	70
БОРИС МЕЙЛАХ. «Загадка» Пушкинской речи Достоевского	76

ПУБЛИЦИСТИКА

НИКО ЛЕОНИДЗЕ. Общественная природа телевидения	82
---	----

К 70-ЛЕТИЮ САМЕДА ВУРГУНА

ЛЕЙЛА ЭРАДЗЕ. Покоряющая стихия его поэзии . . .	89
--	----

В МИРЕ КНИГ

ЛЕОНИД РОСТОВЦЕВ. Повесть о рыцаре из Хварбети	94
--	----

К новому расцвету!

ТРУДЯЩИЕСЯ Советской Грузии постоянно ощущают неустанную отеческую заботу ЦК КПСС, его Политбюро, лично Генерального секретаря ЦК нашей партии товарища Леонида Ильича Брежнева. Новым ярким актом этой заботы явилось недавно принятое решение ЦК КПСС «О ходе выполнения партийной организацией Грузии постановления ЦК КПСС об организаторской и политической работе Тбилисского горкома партии». Это документ особой важности, принципиальное значение которого трудно переоценить, поскольку положения и выводы, сформулированные и зафиксированные в нем, являются для коммунистов и всех трудящихся республики боевой программой борьбы за выполнение исторических решений XXV съезда КПСС и заданий, намеченных в Основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976 — 1980 годы.

Оглядываясь путь, пройденный Советской Грузией за последние несколько лет, ЦК КПСС отмечает ощутимые позитивные перемены в жизни республики, происшедшие в результате важных мероприятий, которые проводили ЦК КП Грузии и его Бюро по претворению в жизнь постановления ЦК КПСС об организаторской и политической работе Тбилисского горкома партии от 22 февраля 1972 года. Отраднo, что в результате больших усилий коммунистов и всех трудящихся республики промышленность Грузии по темпам развития, по общему объему производства и реализации продукции вышла на уровень, предусмотренный Директивами XXV съезда КПСС. Значительные успехи достигнуты в сельском хозяйстве, в капитальном строительстве, в медицинском и культурно-бытовом обслуживании населения по многим другим показателям.

Высокая оценка, данная работе, проводимой ЦК КП Грузии и всеми партийными органами республики, вдохновляет и ко многому нас обязывает. Ведь в постановлении, наряду с успехами и достижениями Грузии в коммунистическом строительстве, отмечаются и нерешенные проблемы, имеющие серьезное значение для нашей республики, реализация которых предусмотрена решениями XXV съезда КПСС. Предстоит, в частности, преодолеть отставание от среднесоюзного уровня по производству общественного продукта и национального дохода на душу населения. Необходимо, безусловно, выполнять все количественные и качественные показатели, определенные десятой пятилеткой, обеспечить более быстрое развитие производительных сил республики.

Для разрешения поставленных задач необходимо еще более активизировать организационно - партийную работу, улучшать стиль и методы партийного, советского и хозяйственного руководства, неуклонно осуществлять ленинский принцип подбора, воспитания и расстановки кадров, координировать усилия всех идеологических учреждений, всех сил и средств агитации и пропаганды в решении социально-экономических задач десятой пятилетки. Писатели, деятели культуры и искусства Грузии, всегда идущие в ногу с жизнью республики и вносящие свой щедрый вклад в коммунистическое строительство, и впредь будут высоко нести свое знамя.

От трудящихся республики, коммунистов и беспартийных требуется решительная мобилизация и полная отдача всех сил. Только при таком условии грандиозные предначертания десятой пятилетки будут нами успешно осуществлены. Нет сомнений, что рабочему классу, крестьянству Советской Грузии, ее передовой интеллигенции по плечу эти задачи. Закрепляя накопленный опыт, совершенствуя стиль и методы работы, трудящиеся нашей республики под руководством Коммунистической партии Грузии достойно выполняют решения XXV съезда КПСС.





ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

Белое поле

Как легкий пепел, сон покрыл меня.
 Спала
 тень ветви на лице, и лиственное тело
 витало надо мной, а там, белым-бела,
 сияла твердь — как снег, как мысль
 и как хотела.

Я спал, но я хранил живительную связь
 сознания и сна—я странствовал
 по воле—
 и обогнула ветвь, витая и вивясь,
 знакомый склон горы, белеющее поле...

И помавает конь прекрасной головой—
 подобное в горах он вызовет движенье,
 и песня разорвет предел голосовой...
 Но смерти нет вообще. А этой — нет
 блаженней!

Но! Где твое лицо? Я сплю? Я слеп?
 Ужель,
 ужель твое лицо мне перестало
 сниться?
 Я разрываю сон — так разрывается ель
 нагорий облака — и движется,
 и длится...

На камне — тень твоя. А ты?
 Я одинок,
 когда — меня — твое — обманывает
 имя:
 другую так зовут... А третья — мой
 порог
 стопами перейдет неслышными
 твоими...

За что... В чужой душе я только слеп
 и нищ,
 не помогают мне чужие утешенья.
 Не верю белизне, где бездны черный
 свещ —
 и тонет в камне тень — плашмя и без
 движенья.

* * *

И реющие над водой мосты,
 и тонущие в небе провода
 я видел, как ребенок видит сны,
 и пропадали неведомо куда.

Когда на протяжении веков —
 сей мимолетной жизни вопреки —

слагая амфору из черепков,
 я взмалывался: Имя прореки! —

Во искупление грядущих мук
 мне счастье было, счастье было мне:
 в чудесной тишине родился звук
 и возникало имя в глубине.

И что ж? Теперь иная тишина,
 такая, будто дают на курок.
 Отвергнута причина и вина
 и ни о чем не рассуждает рок.

И больше я тебя не назову,
 и милых черепков не соберу —
 я обойду голодную молву
 и одарю любовью детвору.

Как листьями играет ветерок,
 глазурью черной или голубой
 играйте, дети, — так могучий рок
 играет мной, а я — моей судьбой.

Гроза, бессонница — и весь в слезах
 мой город пробудился на заре,
 и страшно мне, что я теряю страх
 в прекрасной и безвыходной игре.

Цыгане

Стоял в степи ободранный фургон,
 и серую траву шипали два одра,
 пластался дым, как голубой дракон,
 и вспыхивала пасть костра.

Мелькало разноцветное тряпье,
 варился ужин. Горизонт пустой
 воображенье волновал мое
 свободой, сумерками, ничтогой.

И вот — лицо. Атласный белый плат.
 И сразу — бесконечный как тоннель
 и сквозь меня проилетевший взгляд —
 слепой — туда, за тридевять земель...

И я увидел и сказал: покой.
 Покой — ответила ночная степь...
 И вьется жизнь вокруг оси такой,
 и утверждается такая крепь.

Там свекор или муж ее седой,
 ребята малые, и мир и лад.
 Глядит... И я стою, как под звездой...
 избранныки пронзенные стоят.

Целый год

Год исполняется — долгие были
мгновенья
времени цельного без передышек и
льгот.

Тесного русла вонзаются в спину
камня —
Стал я рекою. Терпенью исполнился
год.

Взмучены воды, распластано тело
потока.

Кто эта девочка — там — высоко —
на мосту?

Шла — обернулась в неясной тревоге.
И только
ты не идешь — и мгновение длится —
и жду...

Жизнь пропадает и берег пошел на
обмолки —

Жду — не дышу — ни слезы — ни
единой строки!

Пейте за горе мое — бейте бутылки —
бьется обида моя о мостовые быки!

Бьется душа — о незыблемое
терпенье.

Чья это воля воздвигнута как стена?
Зыбкие небеса в проплывающей пене.
В заповедные области канувшая тишина.

Обморок — вечность — и трепет
родился сердечный:

это любовь, это ты,
это снится — и вот
в зеркало мрака вошла.. Удаляется
млечный,
целый, подобный планете, светящийся
год.

Тень

А что же впереди? Бог весть.
Простор велик.

И медленней мои шаги и тяжелее.
Не окликай меня: оборотыся на миг,
остановлюсь, припомню, пожалею..

Не окликай, молчи. До стоны
напряглась

летящая стезя, светящаяся линия.

А страсти все мои — одна искупит
страсть —

последняя одна — клин вышибает
клинья!

Невидящим лицом я принимаю свет
и тень моя за мной, упорствую,
влечется —

влечется жизнь моя — так оставляет
пятная кровью снег, подбитая волчица.

А что же позади? Собрание утрат
и перечень грехов — какое изобилье!
Как черный лебедь, грех печален и
крылат.
И ты, последний мой, ты расправляешь
крылья.

Лети, лети, лети — на горестный восток.
Какая это страсть так нехотя светает?
Но крови всей моей не хватит
на глоток
и слез моих земных на кубок
недостанет.

Странствующий остров

В час отлива
на упругом песке,
на мерцающей глади
я пишу — для раздолья в строке,
счастья ради.

Я пишу
для глухонемого ребенка.
Это звуки, произнесенные возле
пламени чистой свечи —
и ничья ни при чем
барабанная перепонка.
Эти звуки ничьи.
В час отлива сознанья
в тиши созиданья
в ночи.

Да покоятся
веки усталые ваши
и ресницы легчайшие
и грудные свободные чаши.
Если даже я комкаю черновики —
и сгорают пространство и плавятся
пляжи —
от какой-то заблудшей строки.

Истина в том, что ты во мне
постоянна —
свет, блуждающий, посреди океана,
свет, рожденный пространствами
темноты.
Светятся лучеугольные эти листы.

Колокол на плоту — колокольчик
надежды,
он звенит, надеясь кого-то спасти.
Где же ты, где же ты, где же ты,
где ж ты?
Долго не удержусь на бумажной
дести.



Экспонат
Экспонат

Не отвечает никто сиротливому зову:
слишком слаб и далек погибающий крик...
Чудо — наивная хрестоматийная
мирооснова —
слово — всплывает, как остров или
материк.

В час рассвета
на атласном песке ослепительной
глади
я пишу воскресения ради.
Мне приснилось кораблекрушенье.
Как простейших молекул
незапамятная канва
связываются слова.
Миропреображение.
Ты жива.

Льется тема ноктурна —
для него никогда не хватает ночной
тишины —
потому я похитил звезду
и свечу оставляю на утро.
Я хочу, чтобы так не померкли
ваши лучшие сны.

(Мы уходим туда
и совсем не приходим оттуда,
и если б не чудо —
подоплека дневного труда!..)

Скалы!
Великолепные дуги пустынных
излучий!

Ярко-синих атоллов
напряженная пристальная синева —
строен мир,
возникающий из созвучий,
жизнь неведомая — жива!

Слух пещеры.
Скал ступенчатых хоры.
Раковина амфитеатра
и столп световой,
возносящийся как фермата —
не надо опоры
опирающемуся на твердь,
объятому синевой.

Сталактиты мерцают. Повисли
как неровные строки непролитых слез.
Знаешь ты?
У меня болят мысли.
Слышишь ты?
У меня — болят — мысли —
как лучи излученные — звезд.

Остров
всплыл за экватором
и плывет, разрывая ячейки
меридиано-широт.
Лупоглазым биноклям,
лопуухим локаторам
нечто чудится — в горловине
Гибралтарских ворот?

То туманом дохнет,
то хрустальным обнимется жаром.
То пробел, то крошечная тьма.
И нырнул и проследовал Югорским
шаром —
свел погоню с ума.

Гнется, ходит антенна
как высколенная змея —
в океане одна белопенная
колея.

Благородного ватмана звонкие
свитки,
карандашные нитки,
мыслящие аппараты,
чьи выкладки непрысты,
даты и координаты.

Дух тшеты.

Слабый запах раздавленной ночью
улитки.
Следы.

Следы пятиглавых ступней...
А-а...

Пока только верю я,
что духовная эта возможна материя,
некто ходит по ней...

— Что ты делаешь тут?
— Камни сталкиваю, а камни растут.
— Кто ты? Эй!
— Я Сизиф.
Здравый смысл мне мешал —
от него я избавился, мифологично
поразив:
камень сталкиваю с горы.

Сынью-осыпью
небольших вожделений
шатко-валко пошел,
упирается до поры.
Тело движется, обрстая.
Ждет и дремлет
обвал преступлений...
Я толкаю —
планету —
низвергается тяжко...
И плавают в бездне миры...

— Стой!!!
Камень стал.
Это камень задумался.
Господи...
Показался Сизиф.

Усмехнулся:
— Стишки...
Я свободен от разума.
Хорошо бы — от совести,
а то путается в ногах,
как выпущенные кишки.

Пивом запахло... Герою
понадобились доски,
и одну он вытаскивает
непосредственно из-под меня —

пальцы на древесине —
плоские как присоски —
и в пещеру скрывается,
хозяйственно семена.

Эти ритмы
я верну океану.
Здесь
на камне
слезами
выбито имя твое.
По велению ритма
я немею и кану —
и по зову родному
воскресну как слово мое.

Железное ложе

Галактиону Табидзе

В зените ночь.
Повсюду и на всем
ее отрывистый колючий почерк.
Сталь на воде и сумрак под мостом.
Полет листвы, восторги одиночек.

И пристальный и беглый свет
в разрывах полены свинцовой.
Дома сошлись и переулков нет.
Крепь рельсовая в мостовой
торцовой.

Устали связи. Здесь разрыв земли —
до глубины шекспировых мистерий.
Свой огонек путейцы развели,
разняли рельсы, покурить присели.

Заморосило. Ветер-листобой
прибил к асфальту яркий лист
бумаги.

Над ним стоит в раздумье постовой —
черно блестят бутылочные краги.

В зените ночь
Часы идут и врут.
Ступило время на порог сомненья,
и нужен подвигу подобный труд
и смерти равное терпенье...

●
Есть человек — он преспокойно спит.
Абориген подвалов и задворок,
выходит рано. Кашляет, сипит.
Но утренняя мысль его — как порох!

Он любит свет пологий и прямой.
Он ежится, он поднимает ворот,

проходит — на обе ноги хромой —
и без него
немыслим этот город!

●

Здесь клинопись теней — и мир
ночной
весь восстанавливается прекрасно,
и надо обойти бы стороной
подъезд и запах дыма и лекарства...

Событие воскресает в мелочах,
и душу втягивает перспектива!
Дом опустел и сад зачах
вдруг — без субъекта и мотива.

Остался запах дыма и лекарств,
порога бледное надгробье.
Ночь напиши, как Рембрандт, —
ты горазд —
по ответу, по чистой пробе.

Чужую смерть прими.
Квартал перелети —
опомнись в лабиринте книжных
полок...
Да что же это — поперек пути —
какая тень! Какой тяжелый волок!

●

Теперь я вас уведомляю:
вне
пределов видимого,
где иное
проходит вечнодействие,



к стене
вы приковали ложе откидное.

Чтобы художник сам пришел и лег.
Чтобы огонь ушел в прохладный
лепел.
Зверь неразумный не пойдет в силок —
зверь сам себе не ставит петель.

Здесь холодно — высокие места.
Земля за облаком — долина в дыме.
И длится та свобода — или та,
крепчайшая из эпитимий.

Живя среди снегов и пропастей
в обители высокогорной,
он овладел причиною страстей
и вольною метафорой — их формой.

Когда он падает — спиною — на
блистательные пики красноречья,
то слово чувствует его спина...
Но ваши чувства должен побережь я.

Он сам — творец — и материал.
Событие — словом разрешалось.
Гармонией он поверял
все то, что с нами совершалось.

Подобье гармонической канвы —
его судьба в грядущей книге житий.
Вся — истина и чудеса молвы...
Он лег. Он ждет: вы ложе сокрушите...

Сквозь облако нырни — и никаких
систем,
и дух воображением не правит.
Вон девочка у монастырских стен
пылающие маки собирает.

Она сама цветок — и к ней пчела
на шейку села, позвенела тонко,
и родинкой осталась у плеча,
и не ужалила ребенка.

А это женщина идет. Она
едва дорогу видит сквозь ресницы.
За нею выгибается стена
и ей вослед глядит во все бойницы.

А из ворот уже спешит чернец
с охалкою цветов для девочки поющей.
В тени зеленой, рядышком — творец,
и человек, и вольный зверь из пущи.

Река в ущелии — прекрасный фон
для пасторали солнечного мая,
где голоса вплетаются в канон,
одну мелодию перенимая.

Явилась книга. Легкая рука
столетия-страницы отлистая —
в скалистом ложе сдвинулась река
и на дороге нечто заблестало.

Поскольку доблесть мира, как пустырь,
от века порастает лебедою,
то вот вам: на осляти — поводырь,
на кляче — рыцарь с пикой-бородою.

Святая встреча! Тут и сами в круг
встают на цыпочки наполненные роги
и колыхаяся ползет бурдюк
и отдыхает посреди дороги.

За полтысячелетья бытия
вино не изменяется во вкусе.
— Гаргантюа, — кричат, —
Гаргантюа! —
им подгоняемые жертвенные гуси.

А из кустов уже торчит Сатир,
чтоб осмеять причудливое действие,
где время спятило, где вешний мир
в беспамятство впадает или в детство.

... И
каменных кулис
из глубины
выходит, вызванный моей душою —
тьнь раздается на три стороны...
— Мой Гамлет! Мы останемся с тобою

одни — на солнечной прямой,
Нерасторжимы жизнь и театр:
бездействовать не мог, и в День
седьмой
создание преобразил креатор.

Бог создал сны как полноправный
род —
удел земной ему подобных, гордых...
Ждал истины испуганный народ
от Данта, побывавшего у мертвых.

Но
истину, которою ведом,
он сам не может знать — затем и
просит...
Из слова мысль выносит он с трудом —
как гроб из дома сыновья выносят.

Та истина была остра
и неожиданна собою.
Не женщина — но тоже от ребра —
обломок розовый, добытый с бою.

Мой Гамлет, светятся его слова
над бездною своих значений...
Ему дарила строгая скала —
свет утренний и свет вечерний.



●
Как брат стучался ветер в дом его —
из смертных брата выбирает ветер.
Так вот оно, поэта существо:
он счастлив был!
Он знал, кого приветил.

И речь двоих исполнена была
величественного косноязычья...
Так вот они откуда — два крыла,
и дух один, и многие обличья.

●
Его осиротевшие листы
темны, загадочны — и тем заметней
непрерывающиеся следы
от первой немоты к последней.

Чистейший звук!
Он помнит все — он мудр.
Ему — собой пожертвовало слово:
пропало, кануло вовнутрь
бездонного эфира звукового.

Так в океане тонет материк...
Ребенку малому нужна отвага
впервые сделать шаг.
Так
жил
старик
и дожил так до рокового шага.

Но счастлив был — кто жизни
не берег,
кто жил растратой полной и
целебной.

А долгий рок накапливался впрок —
до полноты своей великолепной.

Кто виноват? Стена была крута —
настигла и смела его лавина.
Будь счастлива, любая полнота,
будь горестна, любая половина!

●
Кричали по-другому поезда,
сверкали по-другому даже слезы,
и умывалось солнышко, когда
он выходил, — и расцветали розы.

Он с деревом — как дерево стоял.
Он шел как дерево — походкой
вязкой.
Весь бессловесный мир его принял,
а для людей он притчей стал и
сказкой.

Он так молчал, что в хоре голоса
при нем выстраивались сами...
...И многие творил он чудеса,
поскольку мог повелевать словами.

●
Пусть восстановят эпизод
или роман — по звукам полногласным,
но с головокружительных высот
он падать не умел к ногам прекрасным.

Его круги все выше — и крыла
нескоро сложит — и годами длится
полет осиротелого орла...
И так она дрожала — и пролиться
слеза его гордыни не могла.

И невозможно верить простоте,
что жизнь прострелена еще на взлете.
Так он лежит в железной тесноте
смирная смерть — не говорю о плоти.

Уютно в доме, если дождь в окно
иль в борт волна — и вдрызг до
верхних палуб —
в иллюминаторе темным-темно! —
вот плач его очей. Ни слез, ни жалоб.
Скорбь воспримет тот, кому дано.

●
Сад — полон голосов над головой,
и солнца изумруд прохладно брезжит.
А в городе на рельсовой кривой
с утра и за полночь — зубовный
скрежет.

От ночи день отрезан колесом,
и драма городская завязалась.
Он это знает сквозь прозрачный сон.
Сад милосердия — ненадежный
занавес.

Приходит женщина, и дотемна
сидит, подобная любимой тени...
И он не спрашивает, кто она.
Светло лицо и светятся колени.

Голодный вопль колес и рельс,
желудочная резь голодной стали —
все начинается трамвайный рейс
и кончится когда-нибудь едва ли.

Но было так, что звук совсем исчез:
то смерть зевнула от болничной лени.
Один прыжок — чтоб ей наперерез! —
надежней ваших исцелений.

●
Та выходила улица к реке,
и мальчик вырезал на парапете
в блаженном страхе первом и тоске
заветные инициалы эти.

То было Имя — есть и не пройдет —
а в памяти живой и суеверной
по светлой стороне идет-бредет —
по солнышку — старик обыкновенный.



Как великан из заячьей норы,
как дух свободы — тесной речью —
и почвы доброй млечные бугры
незримые цвели ему навстречу.

К терпению жизни, славе и беде —
колеблющейся поступи вязкой...
Вот солнце в жирной городской воде,
вот мальчик: на него глядят
с опаской..

Но то, что он хотел еще назвать,
как будто ждет назначенного мига.

Дыханье ледника. Полет совы.
Звезды вечерней трепетная строгость.
Любимый свет глубокой синевы:
взошла луна и заглянула в пропасть.

Ночной Кавказ плывет сквозь облака —
объятый льдом корабль величавый.
Свобода гения — ему легка:
пера воздушный росчерк — след
крававый..

Музейный скарб. Железная кровать.
Навеки неоконченная книга.

Перевод Владимира ЛЕОНОВИЧА

В ТВОРЧЕСТВЕ грузинского писателя Сезмана Эртацминдели (1890 — 1944) особое место занимают стихи, написанные в годы Великой Отечественной войны. Они ярко выражают дух времени, заряжены патриотическим накалом и верой в победу. Ниже публикуется одно из таких стихотворений С. Эртацминдели.

Сезман ЭРТАЦМИНДЕЛИ

Из лирики военных лет

* * *

Над Сталинградом зарево пожараищ.
Здесь твой отец, твой брат и твой
товарищ.

И будут падать молнии клинками,
пока последний враг не сгинет, канет...

Стоит на Волге город нерушимо.
Здесь насмерть бьется с врагом
дружина.

Уже Ростов восстал из пепла, сразу
предвестником побед грядущих назван.

Поклявшись в верности своей Отчизне,
народ разит врага во имя Жизни.

И, как ушей, не видеть волчьей своре
земель советских, умерев в позоре.

Со всех концов страны сошлись герои,
чтоб отстоять советское, святое.

Из плена Харьков вырвался, бессонно
на улицах его шумят знамена.

И горские бесстрашные джигиты
не повернут назад в бою открытом.

И будут падать молнии клинками,
пока последний враг не сгинет, канет..

Как языки огня мелькают кони.
Врагу не скрыться от такой погони.

Но верю — скоро этот день настанет
и Солнце поздоровается с нами.

Клиники, в горах сверкавшие несыто,
вновь на Дону обнажены для битвы.

Над Родиной сейчас бушует пламя,
и одного с ним цвета наше знамя.

С чем всадников сравнить? Летят лавиной,
Орлами, коим мерзок дух совиный.

И знаем мы, сердца на Кремль настроив,
не счесть в Отчизне пламенных героев!

Перевод Виктора ШИРОКОВА

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

● Роман

Санеблидзе оказался у себя в кабинете.

— По-моему, мне лучше одной зайти. Я немного прощупаю почву, а если разговор получится, то сразу же позову тебя.

— Как хочешь, — ответил Элизбар, но по лицу его при этом промелькнула тень. — Одного не пойму: для чего ты меня сюда тащила?

Непривычная к тому, чтоб муж ей перечил, Ирма опешила и немного растерялась. Надо было как-то выходить из положения.

— Действительно, пошли лучше вместе, — самым непринужденным тоном предложила она и без стука приоткрыла дверь в кабинет.

Санеблидзе весь так и расцвел при ее появлении, но, увидев за ее спиной Элизбара, сразу явно скис. Однако он тут же поднялся с места, любезно приветствовал супругов, пожал им поочередно руки, поздравив при этом с рождением сына почему-то только одного Элизбара, предложил стулья.

В разговоре, расспрашивая их о том о сем, он все время обращал свои вопросы только к Ирме, возможно потому, что она сидела к нему ближе.

Элизбар, оказавшийся в роли слушателя, исподтишка внимательно следил за выражением их лиц, но они перебрасывались самыми будничными фразами, и в тоне, каким они разговаривали, сквозило полнейшее равнодушие друг к другу. Санеблидзе держался утонченно вежливо, но был суше и холоднее обычного.

Элизбар смотрел на него и думал: «Неужели этот почтенный человек с таким именем с таким положением может притворяться, обманывать, может быть блудником, развратником?».

Это семя сомнения, конечно, во многом забросило в его душу поведение Верико. Но как же можно было сравнивать этого умного, образованного, серьезного человека с непогрешимой репутацией семьянина с какой-то взбалмошной, распутной дамочкой?! Так-то оно все так, но ведь он же собственными глазами видел машину Санеблидзе перед домом Маргариты! А что до слов Маргариты, то можно ли им вполне верить? Ведь женщина всегда поддержит женщину! Да и разве могло попасть от нее в их комнату столько дыма?!

Ирма была очень довольна Санеблидзе. Поразительно, как он почувствовал, что сегодня ему надо быть особенно осторожным, чтоб не выдать себя ничем! Да он, оказывается, артистически умеет скрывать свои чувства, оберегать тайну своей любви. А какое это замечательное качество! За одно это его можно без ума полюбить.

Телефонный звонок прервал беседу.

— Да, я сейчас, — ответил Санеблидзе и сразу же поднялся. — Извините, меня просят. Я сию минуто. Хотя, собственно, зачем мне заставлять вас ждать? У вас, очевидно, ко мне дело? Говорите быстренько, я вас слушаю.

— Нам очень стыдно снова вас беспокоить, но... — конфузливо замямлила Ирма.

— Ох, вот память! — со смехом хлопнул себя по лбу Санеблидзе. — Мне же вчера звонил мой друг. Что ж, говорит, ты не присылаешь своего родственника. Я сейчас скажу, куда к нему надо пойти. — И он продиктовал Элизбару адрес. — Скажешь, что ты от Санеблидзе. Он знает. А теперь, прошу прощения, меня ждут. — И он, склонив в прощальном приветствии голову, прошел к двери, не глянув больше ни на одного из супругов.

Цех надувных шаров, куда попал Элизбар, отправившись по адресу, указанному ему Санеблидзе, размещался в подвале одного из тех старых домов, что строились еще в прошлом веке. Фасадная стена была у подвала глухая, а в противоположной стене, выходящей на просторный двор со стороны набережной и наполовину выступавшей над землей, было пробито несколько окон и дверь. Во дворе стоял двухкомнатный финский домик. В меньшей его комнате сидела секретарь-машинистка, а большую занимала бухгалтерия, и в ней было отгорожено помещение под кабинет заведующего цехом.

Элизбар постучался в дверь кабинета и чуть приоткрыл дверь, когда из своей комнатки львицей выскочила разъяренная его поведением секретарша: как это он посмел сунуться к заведующему, когда тот поглощен делами?!

— А скоро он освободится? — спросил ошарашенный Элизбар.

— Не знаю! — коротко отрезала секретарша. Щелкнув ключом, она вытащила его из замка и деловито проследовала обратно в свою комнатку.

Элизбар подождал-подождал и решил выйти во двор. Но там уже начали собираться посетители, и он, чтоб не потерять очереди, поспешил обратно.

Сбившиеся в кучку, посетители молча смотрели на дверь кабинета, изредка косясь в сторону секретарши. Одного из них, видимо, так разозлило ее подчёркнутое безразличие, что он, не совладав с собой, раздраженно выкрикнул:

— Хоть скажите, он освободится сегодня или нет?!

— Не знаю! — огрызнулась секретарша.

— А вы бы зашли и спросили.

— Нельзя ли без наставлений! Завцехом пишет докладную записку, он занят, понятно?

Завцехом, видно, услышал громкий разговор. Сначала он вызвал к себе секретаршу, а потом появился сам, широко распахнув дверь кабинета:

— Прошу, прошу, друзья. Пожалуйста все вместе. У нас здесь никаких тайн нет.

Посетители один за другим медленно двинулись в кабинет.

Поскольку Элизбар стоял первым, он вошел раньше других и сел на стул подле стола завцехом. Остальные заняли места вокруг длинного приставного стола.

Заведующий прошелся несколько раз взад-вперед по кабинету, будто давая возможность присутствующим изучить со всех сторон его тучную, неуклюжую фигуру, потом тяжело опустился в свое кресло, оглядел присутствующих и, задержавшись взглядом на женщине, сидевшей рядом с Элизбаром, спросил:

— Ну, к примеру, вот вы зачем пожаловали?

Женщина проворно поднялась, достала из сумочки несколько сморщенных оболочек надувных шаров и заговорила пискливым голоском:

— В последнее время вы выпускаете некачественную продукцию: каждый второй шар при надувании лопаются. Обратное вы их у нас не принимаете, а списывать нам их не разрешают. Как же нам быть?

— Погодите, погодите, — поднял руку заведующий. — А кто вам вменил в обязанность надувать шары?

— Странный вопрос!

— Не странный, а вполне резонный. Надувать шары — не ваше дело!

— Как так не наше? Детям это любопытно. Мы таким образом привлекаем покупателей.

— И вместе с тем преследуете собственную выгоду, да? Повторяю — надувать шары не ваша обязанность. Что за необходимость создавать повод для кляуз? Ведь если шар лопнет в руках самого покупателя, тот не заявится к нам с претензиями!

— Да, но...

— Никаких «но»! И поставим лучше на этом точку. По-моему, я выражаюсь достаточно ясно.

Обескураженная женщина засунула шары обратно в сумку и вышла из кабинета.

Заведующий проводил ее торжествующей улыбкой и, окрыленный какой победой, обратился к следующей посетительнице:

— Ну а вы, к примеру, по какому делу?

— Я заведу секцией игрушек в магазине номер три. И у нас тоже точно такая же история, — ответила она.

— Что-нибудь осталось для вас непонятным?

Женщина ничего не ответила.

— Ну так вопрос исчерпан. Я уже, по-моему, достаточно ясно все объяснил. — И заведующий стукнул кулаком по столу, как бы говоря: с этим все.

Женщина вроде собралась что-то возразить, но только махнула рукой и молча вышла из кабинета.

— Хм, они, видно, думают, что я сижу в бочке и ничего не вижу! Будто мне неизвестно, что надутые шары они продают по пяти копеек вместо трех. Один только воздух дается людям на этом свете бесплатно, так глядите, и на нем наловчились зарабатывать! — Он, казалось, разволновался и, чтобы успокоиться, снова прошелся разок-другой по кабинету, потом вернулся к своему креслу и обратился к Элизбару:

— А тебя, к примеру, браток, что привело?

Элизбар поежился — ему неприятно было начинать разговор в присутствии стольких людей.

— Говори, говори, нечего мяться! — подбодрил его заведующий.

— Вам звонил насчет меня доктор Санеблидзе, — кое-как выдавил из себя Элизбар.

— Так чего же ты до сих пор молчишь, человек хороший? — и заведующий с прищуром уставился на Элизбара, теребя рукой седеющие усы. Он, казалось, хотел вычитать в глазах этого нового для себя человека что-то очень для себя важное и интересное.

— Учетчиком, к примеру, работать пойдешь?

Элизбар потупился и, невольно скользнув взглядом по лежащему на столе листку бумаги, прочел машинально первые две-три строчки:

«Здравствуй, моя драгоценная Нелли! Прости, что задержался с ответом. Дел по горло, ни минуты свободной...»

Заведующий перехватил взгляд Элизбара, быстро переложил бумажку к себе поближе и спросил с притворным участием:

— Что, не нравится, не устраивает?

Элизбар снова машинально покосился на бумажку и ответил после непродолжительной паузы.

— Я согласен. Мне бы только работать.

— Ну, а, к примеру... — заведующий запнулся, не находя слов, а потом вдруг решительно закончил: — Раз так, ладно! Пиши заявление. Завтра я тебя оформлю приказом, а с понедельника выходи на работу.

В цехе работало всего четыре мастера. Двое из них изготавливали резиновые шары, двое — продуктовые сетки. Каждому из мастеров помогали по две женщины.

На обязанности Элизбара лежал учет готовой продукции. Дело, казалось бы, нехитрое. Но в первый же день ему пришлось столкнуться с трудностью: мастера норовили сдавать часть продукции на склад, минуя учет.

Но почему бы это? Разве не в их интересах, чтоб учет велся точно? Ведь оплата труда в артели сделанная? Какой же им смысл самим уменьшать свой заработок? А может, это просто оплошность?

Элизбар решил поговорить об этом с одним из мастеров.

— Ты не волнуйся, мы себя не обидим, — усмехнулся тот многозначительно. — Да и ты только выиграешь, если будешь вести учет, как тебе говорят!

Но Элизбар на этом не успокоился и пошел со своими сомнениями к инженеру.

— Да ну! Не могу поверить! — всполохнулся было инженер, но кончил тем, что отмахнулся со словами: — А в общем не стоит поднимать из-за этого шум. Бывают иной раз вещи, на которые приходится закрывать глаза.

В тот же вечер инженер затащил Элизбара «распить по бутылочке пива». Но, как это водится, за бутылочкой последовала вторая, а там и третья...

Они добрых часа два просидели за столом, побалакали по душам, многое друг о друге узнали и стали почти что друзьями.

В разговоре инженер узнал, что Элизбар снимает комнату, и посоветовал ему не откладывая подать заявление, так как-де управление как раз приступает к строительству жилого дома.

Вот ведь как трудно разгадать чужую душу! У инженера на первый взгляд такое злое, антипатичное лицо, а он, оказывается, милейший человек, отзывчивый, сострадательный! Сам пригласил Элизбара, угостил, поговорил с ним сердечно, дал такой добрый совет насчет квартиры. Элизбар завтра же напишет заявление. И кто знает, может, правда, ему посчастливится получить квартиру. Вот будет рада Ирма!

Подавая заявление, Элизбар узнал от секретаря-машинистки, что пока просят жилплощадь всего человек десять. Это было совсем хорошо! Узнал он и то, что дом возводят на набережной.

В тот же день супруги пошли посмотреть на строительство. В наполовину вырытом под фундаментом котловане работал бульдозер. Машины то и дело отвозили землю. Плотники обносили участок забором.

— А они взяли хороший темп! Верно, к маю строительство будет закончено, — выразила надежду Ирма.

— Я тоже так думаю, — охотно подтвердил Элизбар. Он-то отлично понимал, что за год с таким строительством не управиться, но ему до такой степени хотелось, чтоб это было не так, что он готов был поверить в Ирмины слова.

После этого супруги заладили ходить на набережную. Они даже познакомились с производителем работ, и тот как-то набросал для них план однокомнатной квартиры, а потом каждый раз старался их порадовать, показывая, как быстро растут стены будущего дома, объяснял, в какой последовательности пойдут дальше работы.

Но особенно часто появляться на стройплощадке Элизбару и Ирме было неудобно, чтоб их не приняли за каких-то бездельников, которым только и забавы, что приходить да глазеть на то, как трудятся другие. И они повадились прохаживаться по другой стороне набережной — любоваться оттуда на поднимающуюся все выше над землей махину нового дома.

Хотя сгоравшим от нетерпения супругам казалось, что строительство тянется очень медленно, на самом деле прекрасный восьмизэтажный дом вырос как на дрожжах. И теперь тут вечно толпились люди — кто приходил, чтоб поглядеть, какие получились квартиры, кто присматривал во дворе место для гаража, кто разглядывал, став в сторонке, балконы.

Теперь уже стесняться никого не приходилось, и Элизбар с Ирмой вволю зачистили на набережную. Рискую вымазать одежду свежей краской, они с предосторожностями переходили из комнаты в комнату, придирчиво осматривая жилые помещения, службы, коридоры. Побывали они в двухкомнатных и трехкомнатных квартирах. Ирме особенно приглянулась одна двухкомнатная квартира на четвертом этаже.

— Вот кабы жить здесь, это бы действительно было счастье! — говорила она, любовно обегая взглядом каждый уголок.

— Кстати говоря, с меня пока довольно и однокомнатной, а потом мы, разумеется, расширится, — откликнулся на ее слова Элизбар таким тоном, будто ключи от квартиры лежали уже у него в кармане. И вдруг сердце у него защемило от сомнения: а, может, еще и однокомнатной не будет?

Но ведь, по всей справедливости, ему не могут отказать. Всем же хорошо известно, что он не имеет собственного угла и снимает комнату. А у всех остальных, плохая или хорошая, но все-таки есть крыша над головой. Пусть, наконец, не в новом доме, но хоть что-то же должны ему дать!

На одном из производственных совещаний, проводившихся в присутствии инженера, бухгалтера, завскладом и бригадира, завцехом с гордостью сообщил:

— Ну, товарищи, план текущего месяца нами выполнен с превышением! Однако мы на этом не остановимся, а приложим все силы, чтоб достичь еще большего.

Инженер горячо поддержал заведующего цехом. Ну этот, мол, месяц как есть есть, тут уж больше ничего не поделаешь, а в следующем мы должны вдвое увеличить выпуск продукции и полностью ликвидировать брак.

Слово в слово то же самое повторил и бухгалтер. В своем заключительном слове завцехом одобрил предложение инженера и со своей стороны добавил:

— Наш цех, товарищи, выпускает как будто бы незначительные на первый взгляд изделия. И в самом деле, ну что такое, казалось бы, какие-то про-

дуковые сетки и надувные шарик? Ничего, пустяк! А вдумайтесь-ка в суть дела поглубже! Продуктовая сетка. Ну что такое продуктовая сетка? А известно ли вам, что с этими нашими продуктовыми сетками в руках на базаре продят тысячи хозяек? Они несут в них домой мясо, овощи, фрукты. А надувные шарик идут еще дальше по своему значению. Мы, товарищи, украшаем своими шариками праздничные колонны демонстрантов, они веселят глаз, радуют малых ребятишек. А дети, товарищи, — это цветы нашей жизни. Но что дети, и взрослые не остаются равнодушными к нашим веселым разноцветным шарикам. Я, к примеру, собственными глазами видел в руках у наших тружеников целые гроздья, целые букеты из шариков.

— Разрешите и мне сказать пару слов, — обратился Элизбар к заведующему цехом.

— Давай, давай! — поощрительно посмотрел на него заведующий.

— Вот вы, уважаемый товарищ Котэ, — начал Элизбар, — только что сказали, что в текущем месяце цех выпустил больше продукции, чем в предыдущем.

— Так, молодец, ты понял совершенно правильно! — похвалил его завцехом, оглаживая рукой свой круглый и блестящий, как бильярдный шар, бритый затылок.

— Но тут что-то не так, уважаемый товарищ Котэ.

— Как то есть не так? А как же, по-твоему?! — взвился завцехом. — Что ж, выходит, мы тут так себе болтаем?! Цифры-то взяты нами, не с потолка, а из бухгалтерской сводки, которая сто раз проверена и перепроверена.

— Что и говорить! — подтвердил бухгалтер, который сидел, подперев обеими руками свою отяжелевшую от трудов праведных голову.

— А что, к примеру, тебе кажется не так? — поинтересовался завцехом, обращаясь к Элизбару.

— Дело в том, уважаемый товарищ Котэ, что у нас очень нечетко поставлен учет продукции! — ответил Элизбар.

— Как это, к примеру, не четко?! А если положим, и не четко, то кого ты в этом собираешься винить? Кроме себя самого. Ведь учет-то — это твое прямое дело!

— Да, но какой может быть учет, когда мастера сдают на склад продукцию за моей спиной.

— Ого! — вскинул голову завцехом, будто крайне пораженный услышанным. — А как же ты допускаешь это? — повысил он голос.

— Я ничего не могу поделать, мне никто не хочет подчиняться. Я уже докладывал об этом нашему инженеру.

— Кому докладывали, кому?! — вскочил с места разъяренный инженер, который, помимо всего прочего, в этот момент подумал: «Ишь каков, молоко-сос! Видно, проведаль, что я никакой не инженер и решил усесться на мое место!» — Врет он все, врет! — заорал он во всю глотку. — Это чистейшая выдумка! Это клевета, и я заставлю его ответить за свои слова! Да, заставлю!

— Ничего не понимаю! — недоуменно пожал плечами Элизбар. — Какая здесь клевета? И что такого особенного я сказал, чтоб мне пришлось держать ответ за свои слова?!

— Это все ложь и подсиживание! Да! — не унимался инженер.

— Погодите, погодите! — вскинул руку, призывая их к порядку, завцехом. — Зачем, к примеру, из ничего устраивать спор? Как можно так легко бросаться словами? Я сам все досконально проверю, а пока прошу не терять время на пустую болтовню. Перейдем лучше к следующему вопросу. — И он повернулся к инженеру. — У тебя, кажется, есть какое-то новаторское предложение — выкладывай.

Инженер поднялся и, раскрыв папку, достал из нее несколько листов бумаги.

— Товарищи! — начал он патетически, но, почувствовав, что несколько переборщил, перешел на более размеренный тон. — С моим новаторским предложением в нашем управлении уже знакомы. И должен вам сказать, что оно единодушно одобрено. А сейчас, товарищи, позвольте мне ознакомиться с ним и вас. Вот, прошу! — И он показал присутствующим два «новых образца» надувных шариков. На одном из них были нарисованы пестрые цветы, на другом — нечто подобное космической ракете. — Я думаю, что пояснения тут излишни, потому что все достаточно наглядно само по себе. Цветы и ракета, как вы сами понимаете, делают наши надувные шары более привлекательными, они еще больше будут ласкать глаз покупателя, будить в детях чувство прекрасного. Ведь я прав, товарищи, не так ли?

— Мы живем в век ракет, и негоже нам отставать от жизни! Это действительно здорово! — наставительно прокомментировал завцехом.

— Вот-вот, товарищ Котэ! Именно то же самое сказали руководящие товарищи, — радостно откликнулся инженер. — Ведь наши шары, как и ракета, устремляются ввысь. До космоса они, правда, еще не достигают, но ведь техника-то движется вперед. Придет время, и мы тоже доберемся до космоса!

— Говоря откровенно, у меня тоже есть одно новаторское предложение, — раздумчиво сказал завцехом, поиграв пальцами по столу.

— Интересно, интересно! — подвинулся поближе к нему бухгалтер.

— Разумеется, интересно, — в тон бухгалтеру подхватил и инженер. — Ведь наш Константин Давидович — автор не одного и не двух внедренных новаторских предложений!

— Но что самое замечательное — хотите верьте, хотите нет — эта идея осенила меня совершенно внезапно, вот только что.

— Всякая великая идея рождается внезапно! — как бы вскользь заметил инженер.

Завцехом в знак подтверждения удовлетворенно кивнул головой.

— А вот, к примеру, вы не считаете, что будет еще лучше, если мы к тому же и озвучим шариком?

— Ух ты! Ну и голова! Вот это, как говорится, придумал так придумал! И это ли не творческий талант! Да-а! — восхищенно воскликнул инженер.

— Практически я мыслю себе это следующим образом, — продолжал, входя в раж, завцехом. — В горлышко шарика мы вставим коротенькую тростинку. Когда воздух будет медленно выходить из шарика, тростинка запищит, то есть издаст музыкальный звук. Прежде всего это будет способствовать развитию у детей с малых лет музыкального слуха, а кроме того, явится неплохим средством для успокоения плаксивых ребятишек. Только представьте себе первомайский праздник. И природа, и человек ликуют. По проспекту Густавели движутся с песнями тысячи демонстрантов. Но вот пошла нескончаемая колонна ребят, и у каждого маленького человечка в руках веселый надувной шарик. И все эти шары лищат, и этот писк сливается в одну торжественную музыкальную ноту. Это тебе почище любого оркестра. Пока, может быть, слишком смело говорить об этом, но, попомните мое слово, наступит время, когда оркестр надувных шаров навеки вытеснит всякие там духовые и прочие оркестры!

Элизбар с трудом сдерживал улыбку. Или я перестал что-либо понимать, думал он, или все эти люди окончательно одурели, что могут пороть такую чушь!

— Ай да мы! — возбужденно выкрикивал заведующий. — По-моему, вопрос можно считать решенным, по-моему, спорного ничего нет. С будущего месяца оба предложения будут внедрены в производство. А изобретателям будет выдана денежная премия.

После окончания совещания завцехом и инженер задержались в кабинете.

— Этот тип очень ненадежный! — начал инженер.

— Ты так считаешь? — спросил заведующий.

— А сам не видишь, что он сует нос куда не следует.

— Зеленый пока... Не раскумекал что к чему.

— Нет, этот из тех, кому никогда мозги не вправишь, уж ты мне поверь. Лучше принимать меры, пока не поздно. Да-а!

— А как же, к примеру? Ни с того ни с сего же не выгонишь?

— Во всяком случае, можно подготовить почву. Да!

...Проверил ли завцехом что-нибудь относительно постановки учета самостоятельно или нет, Элизбар так и не понял. Во всяком случае, ни приказа никакого по этому поводу не последовало и ни на одном производственном совещании не было больше сказано по этому поводу ни слова. Но так или иначе, а мастера перестали сдавать на склад неучтенную продукцию.

Когда к концу месяца Элизбар все подытожил, то надувных шаров оказалось на десять тысяч, а продуктовых сеток на две тысячи больше, чем это было показано в сведениях по выполнению плана. Надо было бы доложить об этом заведующему цехом, но Элизбар не решился, поставив под сомнение собственную точность.

В следующем месяце он особенно тщательно заносил в книгу учета ежедневные сведения, проверял и перепроверял себя, но когда все подсчитал, снова повторилась та же картина. Он пересчитал все еще раз и, убедившись в непогрешимости своих данных, направился к заведующему цехом.

— Ну, что скажешь? Каковы, к примеру, делишки? — спросил заведующий.

Элизбар сел и все обстоятельно доложил.

— Хм! — едва слышно хмыкнул заведующий, введаясь взглядом, Элизбара. И вдруг он расплылся в улыбке: — Молодчага! Ты здорово все подсчитал. Но я хочу, к примеру, дать тебе один добрый совет. Что бы ты ни узнал, помни всегда: слово — серебро, молчание — золото. Если будешь этого придерживаться, никогда не проиграешь. Вот тогда ты будешь настоящий молодец!

— Понятно!

— Ну, а коли тебе все понятно, то гуляй! И держи лучше язык за зубами. Ты меня послушай, это будет тебе только на пользу. Ты, брат, попал сюда через меня, и я не хочу тебе портить дело. Во всем помогу. Я читал твое заявление насчет квартиры. Положение у тебя, правда, не ахти — выкладывать каждый месяц такие деньги не просто. Даже подумать страшно! Мне это знакомо, сам испытал такое удовольствие. Но мы тебе поможем. И я, и другие наши товарищи. Чего тебе еще? Только работай как полагается, а за мной не пропадет.

Элизбар поблагодарил завцехом и, тронутый его участием, обещал, что впредь все будет так, как нужно.

Ирме продлили декретный отпуск — она чувствовала себя не совсем здоровой. Потом она попросила еще два месяца без сохранения содержания — ребенок требовал ежесекундного внимания.

Днем ей помогала в уходе за ребенком Маргарита, а по ночам все брал на себя Элизбар. Но нет-нет и ей приходилось подниматься среди ночи — малыш устраивал такой концерт... Соседки попытнее говорили Ирме, что, верно, младенца что-то мучит, иначе он спокойно бы отсыпал свои шесть часов по ночам и так часто не капризничал.

Супруги несколько раз носили ребенка в детскую консультацию, показывали его профессору, но врачи у малыша ничего не нашли. Они считали, что ребенок совершенно здоров, только ему, должно быть, не хватает материнского молока, нужен прикорм. То же самое, кстати сказать, говорил и Санеблидзе. Он даже настоятельно советовал Ирме полностью перевести младенца на искусственное питание, говоря, что это будет только на пользу и ей самой, и ребенку.

— А в каком отношении? — поинтересовалась Ирма.

— Надо беречь красоту, которую подарила тебе природа. А кормление ничего кроме вреда женщине не приносит. И фигура от этого портится, и лицо не хорошеет.

С тех пор, чуть оставшись дома одна, Ирма тут же бросалась к зеркалу и начинала разглядывать себя с ног до головы. И хоть, может, это было и совсем не так, но ей стало казаться, что с каждым днем от нее уходят былая свежесть и прелесть и она все более дурнеет.

Глянув однажды на нее, когда она, по своему обыкновению, крутилась перед зеркалом, Маргарита спросила заботливо:

— Чего это ты так пригорюнилась, глядя на себя, дочка?

— Не знаю, какая-то совсем не та я стала после родов, потускнела, поблекла.

— Да с чего это ты взяла? Женщина после родов, наоборот, расцветает, хорошеет.

— Эх, видели бы вы меня раньше, так бы не говорили.

— Ты и сейчас прелесть! Мои соседи все уши мне о тебе прожужжали. Ну и красотка, говорят, твоя квартирантка. Второй такой девочки во всем Тбилиси не найдешь.

— Да уж прямо! Я же вас знаю, тетя Маргарита, это вы только для того, чтоб меня утешить.

— Нет, дорогая, чего мне льстить тебе? Ты и сама отлично знаешь, что красива. Не видишь, что ли, как Санеблидзе по тебе с ума сходит?

— Что вы, что вы, тетя Маргарита! — воскликнула Ирма и хотела тут же добавить, что они с Санеблидзе в родстве, но воздержалась, подумав: «Ведь старую Маргариту не проведешь, она, небось, все понимает», и только добавила: — Об этом мне, замужней женщине, даже помыслить грех!

— Это не грех, доченька! А вот то грех, что ты мыкаешься в такой нужде и ребенка из-за этого многого лишаешь. Это разве жизнь? Ну что хорошего ты видишь?

Ирма слушала ее, ничего не отвечая.

В тот день Элизбар пошел на набережную один. О распределении квартир в новом доме на работе пока ничего не было слышно, а между тем кое-кому из тех, кто, как и он, дождался получения жилплощади, было уже откуда-то известно очень много всяких подробностей.

Народу на сей раз подле дома толпилось больше обычного. Поблизости от второго подъезда, в котором было несколько однокомнатных квартир, стояли две грузовые машины. Одна стояла прямо под балконом, и на нее сверху сбрасывали снятые перегородки и отбитую штукатурку, а в кузов второй машины, в который уже погрузили ванну, складывали кафельные плитки.

— Не успели построить и уже рушат? — спросил Элизбар стоявшего неподалеку прораба.

— Что поделаешь, братец! Своя рука — владыка. Рушат стены, расширяются за счет однокомнатных квартир. Словом, устраиваются по-барски.

— А кто это?

— Да новые жильцы!

— Но квартиры же пока не распределены?!

— Здравствуйте! Да еще фундамент не был заложен, когда все уже было распределено. А сейчас для формы составят протоколы и раздадут на руки ордера.

— Да, но как же это — присоединять однокомнатные?

— А очень просто. И хоть лоб себе расшиби, их ни на чем противозаконном не поймаешь. Там какие-то обмены, там миллион всяких комбинаций, в общем, сам черт ничего не разберет.

— А куда смотрит руководство?

— А ты у них самих поспрошай, братец! Я — человек маленький.

...Когда Элизбар высказал свое недовольство тем, что его как и многих других, обвели вокруг пальца, заведующий цехом сказал ему предостерегающе:

— Я советую тебе лучше помалкивать!

— Да, но я не могу проглотить язык, когда кругом творятся такие несправедливости! Квартиры предоставили тем, кто совсем не нуждался в жилплощади, а я остался на улице, мне даже в старом доме ничего не дали.

— Не хватило! Ты же сам свидетель, что на весь наш цех выделили только одну квартиру. Я здесь состарился, на этой работе, мой отец тоже вкалывал в нашей системе двадцать лет, а мы, восемь человек, теснились до сих пор в двухкомнатной квартире, которую сами с грехом пополам переделали в трехкомнатную. Пока ребята были маленькие, куда ни шло, плохо ли, хорошо ли, кое-как уместались. А сейчас все повзростали, каждому нужен свой угол. Одним словом, уже невозможно стало терпеть эту тесноту. Бог свидетель, я даже заявление не подавал, никого ни о чем не просил. Руководство само пошло нам навстречу, зная наше тяжелое положение, и моему отцу выдали трехкомнатную квартиру. А тесть мой обменялся, чтобы быть поближе к своим. Он уже старый человек и жил один на отлете от нас всех, на Авлабаре. Да и мои родители тоже уже старики, что им одним делать в четырех стенах с утра до вечера? А так хоть соберутся все вместе вечерком, в нарды, в лото поиграют. И то дело! Старых людей уважать, беречь надо. Мы ведь сами тоже когда-нибудь постареем. А как же иначе, если хочешь жить по-человечески!

— Я ничего не говорю, уважаемый товарищ Котэ, но мне-то хоть в старом бы доме что-нибудь дали.

— Что можно было дать, когда никто не сдавал старых квартир?

— Но как же это можно было допустить? Говорят, одни оставили в старой квартире мать, другие — тещу, третьи — свояченицу! Это же свинство и больше ничего!

— Я, к примеру, тебе скажу, что лучше ты не рыпайся. Теперь хоть носом землю роить, все равно ничего уже не изменишь! Квартиры распределены, ордера выписаны, жильцы вселились. Поэтому лучше напрасно языком не трепать. Делу все равно не поможешь, а только в интриганы попадешь. Через два-три месяца мы начнем строить на набережной еще один дом. Строиться он будет скоростным методом, так что очень скоро будет готов. Глазом моргнуть не успеешь. Вот там ты можешь твердо надеяться. Я сам лично помогу тебе как родному брату. Все сделаю.

— А вдруг и тогда... — нерешительно начал растроганный до глубины души Элизбар, но не сумел договорить от подступивших к горлу благодарных слез.

— Я, к примеру, тебе советую пока молчать. От этого, поверь, ты только выиграешь... Даже в Евангелии сказано, что долготерпение очищает душу! Вот так-то, брат. Надо быть человеком!

— Тебе просто морочат голову! — вынесла свое заключение Ирма, когда Элизбар пересказал ей свой разговор с заведующим цехом.

— А чего им меня обманывать? Если не хотят давать, могут прямо сказать: не дадим, мол, и все.

— Да тебя все это время водили за нос, и дальше будет то же самое. Треплют языком, просто чтоб отвязаться.

— А что же мне делать, по-твоему? Открою рот, начну жаловаться, меня же объявят интриганом и в три шеи прогонят с работы. Еще и без места останешься.

— Не-ет, жалобами тут ничего не возьмешь. Надо уметь подойти к начальству, подольститься, угодить. Каждый человек любит, чтоб его уважили.

Маргарита ходила за малышом, как за родным внуком. Ее по целым дням было не оторвать от колыбели. Весь свой долгий век прожила она, не испытав радости материнства, — не дал ей бог детей, — и вот теперь, на пороге могилы, на смену единственному ее развлечению — заботе о кошке пришло вдруг вспыхнувшее у нее в груди материнское чувство. Даром что ребенок был не родной ей по крови, она бы и родного внучонка не могла любить сильнее.

Ирма пока все еще сидела дома, а дальше собиралась опять взять отпуск без сохранения содержания, но Маргарита не давала ей покоя своими уговорами — я же, дескать, дома, чего тебе тревожиться?

По правде говоря, Ирме и самой хотелось выйти на работу, трудно ей было торчать с утра до ночи в четырех стенах. Но она все-таки боялась оставлять ребенка на одну Маргариту. И не столько из опасения, что старушка не справится или поленится сделать что-нибудь для малыша, а больше из-за балованной кошки — не причинила бы она какого-нибудь вреда малышу. Та же мысль беспокоила и Элизбара. Сами они днем, когда дверь в коридор бывала открытой, глаз не сводили с колыбели, а по ночам наглухо запирались.

Старушка и маленький Гия с каждым днем все больше привязывались друг к другу. Маргарита справлялась с маленьким даже лучше, чем мать. Видя все это, Ирма решилась-таки довериться заботам Маргариты и вышла на работу. В больнице она узнала от главного врача, что на ее место приняли новую фельдшерницу, а ее перевели в хирургическое отделение, где ей опять предстоит работать с Санеблидзе.

Первая их встреча произошла в коридоре. Санеблидзе, как того требовало простое приличие, с улыбкой ей поклонился, пожал руку и тотчас же отошел. В тот день он был приглашен на консилиум в какую-то больницу и чуть не с самого утра уехал.

Так же прохладно повел он себя и на второй день. Кивнув как бы между прочим головой, он сразу же занялся чем-то своим и потом за весь день не перекинулся с ней ни словом. Даже не удосужился объяснить, что отныне будет входить в ее обязанности, в чем будет состоять ее работа.

В операционную Санеблидзе брал с собой только свою ассистентку и вторую медсестру, а Ирме вообще ничего не поручал.

Ассистировала ему девушка лет двадцати пяти, маленькая, пухленькая, но не красивая и даже не привлекательная. Хотя, возможно, так казалось только Ирме, а на самом деле в той что-то было. К тому же она была большая щеголиха.

И все-таки Ирме почему-то казалось, что ассистентка ей тайно завидует — ее стройности, изяществу, ее свеженькому, как цветок, лицу. Та поглядывала на нее, высоко вскидывая выщипанные брови, будто так и желая сказать: а все-таки тебе ни манерами, ни воспитанием, ни образованием, ни даже нарядами до меня не дотянуться.

Но больше всего скребло на сердце у Ирмы из-за того, что Санеблидзе без конца нахваливал свою ассистентку и проявлял к ней всяческое внимание. Однако в глубине души Ирма была по-прежнему уверена, что все его помыслы направлены только к ней одной. Похоже было, что он чувствовал себя перед ней виноватым и не знал, с какой стороны лучше подойти.

И странное дело! Теперь, когда они как будто бы дулись друг на друга, она особенно остро чувствовала свою власть над Санеблидзе. Ей точно даже слышалось, как бешено начинает колотиться у него сердце при одном лишь ее взгляде, брошенном в его сторону.

Так-то оно все так. Но Лади перед ней действительно виноват. Как только он позволил себе явиться к ней домой незваным гостем да еще под градусом! И как он мог осмелиться сказать ей, что пришел потому, что знал об отъезде Элизбара! Но откуда он, интересно, об этом проведал? Верно, Маргарита сообщила. Он даже намекнул Ирме, что хозяйки-де им нечего опасаться, она-де надежный человек и никогда не откроет рта.

Однажды, выйдя в конце дня из больницы, Ирма увидела перед подъездом машину Санеблидзе и возле нее его самого. Ей сразу почему-то подумалось, что он дожидается ее, и она, сойдя с лестницы, в нерешительности приостановилась.

Словно под воздействием магнита, он весь потянулся в ее сторону и уже собирался что-то ей сказать, но рвущиеся наружу слова замерли у него на языке. Не кто-то, скрипнув дверью, вышел из подъезда больницы. С лица Савенблидзе как ветром сдуло улыбку, он нахмурился. Правда, глаза его еще на некоторое время бессознательно задержались на Ирме, но все внимание было уже приковано к больничному подъезду.

Ирма, не обернувшись, поняла, что это была ассистентка Савенблидзе, и даже будто ощутила спиной ее направленный на себя насмешливый и пренебрежительный взгляд. Почувствовав себя в нелепом положении, она пробормотала: «Всего доброго, батоно Лади» — и собралась идти, но в это самое время услыхала:

— Я подвезу тебя, Ирма.

Ей страшно захотелось сесть в машину, и она, с трудом преодолев искушение, лишь после некоторой паузы ответила:

— Спасибо, я пройдусь пешком.

Ассистентка уселась в машину, и когда они проезжали мимо Ирмы, ее надменный взгляд будто бы говорил: «Лопни со злости! Я вот еду в машине, а ты тащишься на своих двоих!».

«Выскачка! Нашла чем поражать!» — мысленно отвела душу Ирма, резко отвернувшись в сторону.

И с чего, хотелось бы знать, эта ассистентка точит на нее зубы и всячески старается ей досадить? Так и норовит унизить, поставить в дурацкое положение. А во время операций как она ведет себя! Нарочно цедит что-то беззвучно сквозь зубы, чтоб Ирма не могла понять, чего от нее хотят. Переспрашивать без конца не будешь! Вот и получается, что Ирма подает вместо скальпеля ножницы или наоборот. Все, наверно, считают, что она или глуховатая, или окончательно дуреха, ничего не знающая в своем деле.

А Лади-то, Лади! Он готов эту ассистентку на руках носить! Может, еще влюбился, чем черт не шутит? Ведь он сам говорил как-то, что не мыслит без любви и дня прожить. Но надо было найти такую кикимору!

— Ну, не лопнешь после этого со злости! Я, к примеру, всегда хвастался, что кляузников и бумагомарателей в своем цехе не держу, сам учил других, как от них избавляться, и вот на тебе! Как говорится, сел в галошу! — в пылу возмущения разглагольствовал завцехом надувных шаров, вертя в руках анонимное заявление, которое он и так и сяк разглядывал, то поднося к самому носу, то отводя на почтительное расстояние от себя.

— Да уж действительно! Видно, какой-то негодяй взялся всех нас облить грязью! — сочувственно покивал головой инженер и, сделав небольшую паузу, добавил: — Одно хорошо, Константин Давидович, что это письмо попало в твои руки, а то бы мы могли влипнуть черт знает в какую историю! Да-а!

— Дай бог здоровья начальнику управления. Вот это мужчина, вот это человек! Возьми, говорит, это заявление, посмотри, что там клепают этот заявитель и прими нужные меры! А то, говорит, он, видно, из тех типов, кто может полезть со своими доносами и в более высокие инстанции. Эх, узнать бы только, кто это строчит! Я бы вашу с бухгалтером полумиллионную задолженность с радостью на себя взял!

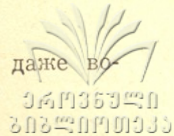
— Да разве так просто узнаешь! Эти дела не так быстро делаются. Надо будет постепенно все разноухать, — комментировал инженер.

— В том-то и дело! — повысил голос завцехом, пронизывающе уставившись на инженера. — Но ты сам знаешь, ничего на свете в конце концов не утаишь.

Не выдерживая направленного на него взгляда, инженер заерзал на месте; вытащив из кармана платок, он утер внезапно взмокший лоб, почесал почему-то глаза.

— Хм! — многозначительно хмыкнул завцехом с таким видом, что инженеру уже представилось, что его осенила какая-то догадка. Потом еще раз пробежал глазами анонимное письмо и пробурчал озадаченно: — Надо же было выискаться такой твари! И досконально знает обо всем, что делается в цехе! Даже о том, во что посвящены только ты, я да бухгалтер. Выходит, кто-то из нас троих это настрочил?

Инженер энергично затряс руками и головой — да ну, мол, это же совершенно невероятно! — и начал вкрадчивым голосом, стараясь казаться спокойным:



— Ну что ты говоришь, Константин Давидович! Как можно даже вообразить себе такое?!

- Что, не верится?
- Нет, нет, только не он!..
- Кто «не он»?

Инженер показал через плечо большим пальцем в сторону бухгалтерии.

— Но если не он, тогда, значит, ты или я?

— Ну как ты можешь, Константин Давидович! — почувствовал себя увереннее, с облегчением перевел дух инженер. — Хотя, по правде говоря, люди теперь так испоганились!.. Но, во-первых, бухгалтер с нами в доле. Он же не последний дурак, чтоб сделать такую вещь! И потом, мы ведь уже десять лет связаны, и он никогда подобной грязи не разводил. Да-а!

Заведующий цехом в сомнении покачал головой, посидел минуту-другую молча, уставившись в точку, и вдруг неожиданно резюмировал:

— Рассуждаешь ты как будто бы на пятерку — все правильно: и соображения, и выводы. Но, сдается мне, ты чего-то не договариваешь.

— Э-эх, мой Константин Давидович! Недаром говорят, что если вор совершает один грех, то тот, у кого украли, — тысячу! Потому-то мне и трудно говорить. Но ради общего дела придется быть беспощадным. Я имею в виду нашего учетчика, Константин Давидович!.. Он так неплохой парень и дело любит!.. Ты сам даже недавно назвал его знающим и перспективным молодым человеком. И я готов с этим согласиться. Да и нет никаких оснований не соглашаться. Но, как говорится, чужая душа — потемки! Сердце человеческое прячется в груди, его глазом не увидишь, руками не прощупаешь!

— Золотые слова! — в азарте стукнул по столу кулаком завцехом. — Только, чур, не возгордись от моей похвалы! — А сам в это время думал: «Ну и шельма же этот инженер, будто не знает, что я прихваливаю учетчика только для того, чтоб ему досадить. Небось ночами не спит от страха — назначил бы я этого парня на его место. Чует, что я раскусил его проделки, но виду не подает, держится! Однако сейчас я ему немного попорчу кровь! Пусть знает, что его судьба в моих руках. Это полезно для подчиненного». — Учетчик и в самом деле отличный парень, деловой, исполнительный. Он себя еще покажет.

— Да, это верно, — без особого энтузиазма поддакнул инженер, думая про себя: «Что-то крутит наш заведующий. Надо нажимать, пока не поздно!». — Что будешь делать, — решил он начать без обиняков, — но не нравятся мне все-таки что-то наш учетчик. Режь меня на куски, я все равно скажу, что нам лучше поскорее от него избавиться. Вот такое будет мое слово, и все.

Завцехом хитро ухмыльнулся и сказал, степенно огладив усы:

— По моему глубокому убеждению, всякий человек, даже самый порядочный, — немного в душе интриган!

— Вот это ты отхватил, Константин Давидович! Так здорово еще никто не сказал об интриганстве!

— Да будет тебе, брось!.. А ведь правильно говорят, что крепость падает из-за предательства внутренних врагов. Неужто же это правда учетчик?

— Отрежь мне язык, если это не так!

— Да-а, вероятнее всего. В заявлении повторяется все то, о чем он говорил на производственном совещании.

— То-то! А мы все-таки с тобой головы! — удовлетворенно воскликнул инженер, но поспешил прикусить язык — не переборщил ли он в изъявлении радости — и продолжал поспокойнее, в тоне глубокого участия и озабоченности: — Мы-то что, черт бы нас всех побрал, только бы тебя он не опорочил, этот подонок!

— Чтoб я, к примеру, не знал другого горя! Мой авторитет подорвать не так-то просто. Я за парочку дней все улажу.

— Дай-то бог, дай-то бог! Лучше нет, когда руководитель у тебя — не только ума палата, но еще и умелый, опытный человек. Да-а!

На следующий же день завцехом вызвал к себе учетчика.

— Заходи, заходи, друг, присаживайся. Вот сюда давай, поближе, — показал он глазами на стул рядом со своим столом.

«Что-то, кажется, дела неважнецкие!» — подумал Элизбар, опускаясь на стул.

— Ты, дорогой, на меня не сердись, — начал завцехом с напускным сочувствием, — я делаю все, что могу, но никак не сумел тебе помочь.

Элизбар понял это как разговор о квартире и решил, что дела его не так уж плохи: видимо, у завцехом попросили дать на него характеристику. А коли дело дошло до этого, то, значит, потерпеть осталось не так уж долго. И он, улыренный сердечным участием начальства, рассыпался в словах благодарности.

«Он или окончательный кретин, или хорошая лиса!» — решил завцехом, но на всякий случай ответил с подобающим его положению достоинством:

— Не стоит благодарности. Это всего-навсего моя служебная обязанность. Я только с виду кажусь суровым, а сердце у меня нежное, как у малодитяты. Не могу не посочувствовать ближнему, не могу не поддержать. Я из-за тебя со всем начальством перескандалил. Но ничего у меня не вышло.

— Ничего, наберусь терпения и буду дожидаться своей очереди. Когда-нибудь что-нибудь да дадут.

— Ух, какой же ты, оказывается, недотепа! Заруби себе на носу, что тебе никогда ничего в жизни не получить, если ты не научишься требовать.

— Ну я постараюсь время от времени напоминать о себе. Наведаюсь туда разок-другой, спрошу, поговорю.

— Давай-ка пойди к нашему управляющему. Доложи ему, что и как, скажи, что попал под сокращение штатов и остался без места. Может, начальник что-нибудь для тебя придумает.

Элизбара как громом поразило. Он смертельно побледнел и не в силах был произнести ни слова. Разве он мог допустить мысль, что завцехом говорит с ним не о квартире, а о том, чего он боялся больше всего на свете.

— Я тебе как брату советую, иди прямо к начальнику управления, — убеждал его заведующий цехом. — Вот увидишь, если твое дело не выгорит.

— Спасибо вам, спасибо, — ответил Элизбар хриплым от подступившего удущья голосом. И направился к двери.

Заведующий цехом поднялся с места и вышел из-за стола, собравшись проводить Элизбара до дверей, но тот быстро вышел, ни разу не обернувшись, и плотно прикрыл за собой дверь.

— Вот это я по-молодцовски! — злорадно усмехнулся в усы заведующий цехом. — Что заслужил, то и получай. — И, подойдя к окну, посмотрел во двор — не выражает ли там перед кем-нибудь свое недовольство учетчик.

Но тот уныло брел по двору, низко опустив голову...

Перевод Маргариты ГРЖЕНДЗИЦА



Жажда

● Роман

Серые клочья облаков неподвижно лежат на горах. Узкие столбцы обес-
 силенных солнечных лучей с трудом пробиваются сквозь туманную пелену.
 Осенние работы окончены. Сено собрано в стога, кукуруза срезана, картошка
 выкопана, скотина согнана с горных пастбищ, хлева утеплены — их стены
 обмазаны смесью навоза с соломой. Иные семьи уже запаслись дровами, иные
 запасаются. На узкой размытой дороге часто можно увидеть волов, запряжен-
 ных в сани, нагруженные дровами. Волы запарились.

Чувство времени потеряно. Однообразные дни лениво тянутся один за
 другим, становятся невыносимыми, и Ладо готов чуть ли не выпрыгнуть из
 своей оболочки: выбежать в дождь, заорать на всю деревню, вытворить бог
 весть что, только бы не оказаться погребенным под этими серыми днями. Сем-
 надцать часов в неделю в школе — это слишком много свободного времени.
 Можно, конечно, читать запоем, но и чтение под конец становится бессмыслен-
 ным. Ладо мучала бессонница, он часто вставал среди ночи и ходил взад-впе-
 ред по балкону, окутанному холодным туманом...

От отца давно не было никаких вестей, и это окончательно лишило его
 покоя; связаться с Тбилиси по телефону не удалось — линия оказалась по-
 врежденной.

— Черт бы их побрал этих почтарей! — в сердцах сказал Ладо Тэмразу.

— К воскресенью восстановят, — успокоил его Тэмраз.

Они сидели на перилах балкона и смотрели на безлюдную дорогу.

— Я бы позвонил из Мestia, если бы не уроки, — сказал Ладо.

— А у меня репетиция с хором.

Ладо раздумывал, как быть, когда на дороге показалась Кэту. Она шла в
 Мestia по делам, и Ладо после некоторых колебаний решил пойти с ней.

До города они добрались на грузовике. Страх встретить кого-нибудь из
 односельчан, который всю дорогу преследовал Кэту, как рукой сняло, словно
 Мestia находилось далеко-далеко, в чужом краю, населенном сплошь незна-
 комыми людьми, которым не было до них никакого дела.

Они шли по заасфальтированным улицам.

Под высокими белыми башнями примостились дома с резными балконами.
 Неожиданно из-за заснеженных гор выплыл самолет. Огромная его тень пере-
 секла улицу и исчезла вдали, за рекой. Самолет был небольшой, зеленый —

«кукурузник», как обычно его называют, и очень гармонично вписывался в древний пейзаж, как, впрочем, и сам асфальт, поросший по краям вялой осенней травой.

На углу улицы стоял газетный киоск. За стеклами его пестрели разноцветные обложки журналов.

У парикмахерской, рядом с почтой толпилась молодежь. Увидев Кэту с незнакомым человеком, они прервали разговор и уставились на нее. Ладо шагал с беззаботным видом.

На почте никого не было, кроме девушки-телефонистки, которая тщетно вызывала какую-то деревню.

— Тыфу, черт вас побери, — телефонистка в сердцах бросила трубку на стол.

— Ну и злюка, — улыбаясь, сказал Ладо.

— Целый час бьюсь, — проговорила девушка.

— С Тбилиси можно связаться?

— Только после шести. Линия повреждена.

— После шести, так после шести, — Ладо назвал девушке номер своего телефона и фамилию, и они снова вышли на улицу. Было около трех часов пополудни.

— В три мне надо быть в райкоме, — заторопилась Кэту.

— Хорошо, — сказал Ладо, — я пройдусь немного, в шесть буду ждать у почты.

Ладо довольно долго бесцельно слонялся по улицам. У входа в ресторан он заметил Француза, тот смотрел на него, улыбаясь во весь рот, и Ладо не оставалось ничего другого как подойти.

— Здравствуй. Как поживаешь? — поздоровался Француз.

— Так себе.

— Я видел тебя и Кэту.

— А что ты здесь делаешь?

— Привез председателя на совещание. Куда ушла Кэту?

— Пойдем выпьем пива, — Ладо оставил вопрос без ответа.

Француз одобрительно хлопнул его по плечу. Он вел себя так, словно они с Ладо были закадычными друзьями. Ладо старался не поддаваться раздражению.

В ресторане стоял шум. Ладо заказал две кружки пива и положил деньги на прилавок, но какой-то мужчина в синем плаще сгреб их и сунул обратно в карман Ладо.

— Заплачено, — сказал он, улыбаясь. Ладо улыбнулся в ответ и поставил кружки на стол.

— Неужели не узнал? — удивился мужчина в плаще.

Ладо вроде где-то видел это гладко выбритое, полное лицо, с неизменным выражением чувства собственного достоинства, но где? Ладо силился и никак не мог вспомнить. Гамлет Авалиани — осенило его наконец. Авалиани годом раньше Ладо окончил факультет журналистики Тбилисского университета, считался активным сотрудником редакции университетской многотиражки, часто выступал и на собраниях кружка молодых писателей и вообще считался «сильным» студентом.

— Узнал, — сказал Ладо. — Здравствуй!

— Что же ты, дружище, неси, что ли, пиво, у меня в горле пересохло, — позвал Француз.

Они сели за свободный столик. Француз жадно отпил пива.

— Ты как здесь очутился, Ладо? — спросил Гамлет.

— Работаю в Бечо учителем, — ответил Ладо, — а ты?

— Я, браток, устроился в Тбилиси литсотрудником журнала «Колхозник Грузии».

Француз внимательно прислушивался к разговору, стараясь выловить и запомнить какое-нибудь «ученое словечко», чтобы при случае хвостануть перед ребятами, ему нравилось «иметь дело с учеными и сознательными людьми», и он то и дело поглядывал по сторонам — не вошел ли кто-нибудь из знакомых.

— Доволен работой? — спросил Ладо.

— Вполне. Женился.

— Молодец.

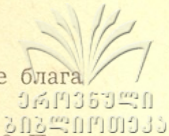
Гамлет самодовольно улыбнулся.

— Значит, устроился в Тбилиси? — разговор стоил Ладо усилий. — Молодец! А каким ветром тебя сюда занесло?

— Приехал на похороны родственника. Заодно хочу написать очерк, ничего не поделаешь, на одной зарплате не продержишься.

— Тебе виднее.

— А ты надолго застрял в Бечо? — поинтересовался Гамлет.



— Застрял.
 — Трудно жить в провинции, — вздохнул Гамлет, — Ни за какие блага же покину Тбилиси.
 — Не покидай.
 — Что-то не повезло тебе, — проговорил Гамлет. — Почему так? Помнишься, ты считался хорошим студентом.
 — Не везет, — усмехнулся Ладо, — ничего не попишешь.
 — Не падай духом, — утешил его Гамлет.
 — Постараюсь.
 — Жизнь — борьба, — поучительно произнес Гамлет, — надо бороться.
 — Жизнь — лестница; одни поднимаются, другие — спускаются, — с философским спокойствием вмешался в разговор Француз и выжидающе посмотрел на собеседников — какое впечатление произвели его слова.
 — Да, да, — согласился Ладо и прибавил: — Смотри, как бы не прозевал председателя.

Но Француз и не думал покидать стола.
 — Куда ушла Кэту? — спросил он опять.
 Ладо ничего не ответил, поднял кружку, отпил пива.
 — Кто такая Кэту? — поинтересовался Гамлет.
 — Есть одна, — неохотно ответил Ладо.
 — Кэту Ушхвани, в библиотеке работает, — уточнил Француз.
 — А, Ушхвани? Знаю, как же. Таких девушек не густо в Местийском районе. Я в Тбилиси застрял, иначе...
 — Она помолвлена, — заметил Француз.
 — Знаю, — сказал Гамлет, — ходили слухи, будто она не хочет выходить замуж или что-то в этом роде.

Ладо взял пустые кружки и пошел за пивом, стараясь избежать продолжения этого неприятного ему разговора, но как только он вернулся, Француз возобновил беседу:

— Не стоило говорить, но...
 — Мы ведь свои люди, дружище, — Гамлет пододвинулся к Французу.
 — Восемь лет как они помолвлены, а сейчас она отказывается выходить замуж, не люблю, говорит.
 — Да ну? — удивился Гамлет.
 — Ага!

Ладо отпил пива, оно показалось ему невероятно горьким.
 — В Сухуми училась, и сам понимаешь, — Гамлет хихикнул, — однажды испробуешь — не отучишься, — он обернулся к Ладо. — Девушка-то, оказывается, к городским тяготеет, а?

— Зря ты возле нее вертишься, смотри как бы Чопэ не узнал, — сказал Француз.

Ладо с отвращением посмотрел на него:
 — Не глупи!
 — Я пошутил, дружище, — Француз мигом переменял тон.
 — Глупые шутки, — Ладо с трудом удерживался от желания схватить обоих за шиворот, стукнуть лбами друг о друга. — Мне надо идти, до свидания, — сказал он как можно спокойнее...

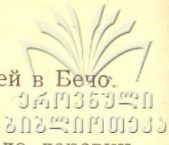
Кэту уже была на почте. Ее голубые, исполненные доверчивости и любви глаза излучали столько доброты, детской беспомощности, что злость с Ладо как рукой сняло.

— Долго заставил тебя ждать? — спросил он ласково.
 — Нет, я сидела здесь одна, думала. Никто не мешал.
 — О чем же ты думала?
 — Не знаю... Обо всем.
 — А все же?
 — Обо всем, Ладо.
 — И обо мне?

Девушка кивнула головой и покраснела.
 Ладо подошел к окну.
 Связь все еще не была восстановлена, и Ладо послал отцу телеграмму с просьбой срочно сообщить о состоянии здоровья.

— Хотела бы я видеть твоего отца, — сказала Кэту.
 — О, он у нас сердитый, — шутливым тоном ответил Ладо. — Как глянет из-под очков, тут же и выложит, если не понравишься.
 — Тогда лучше не надо.
 — Не беспокойся, ты ему понравишься, — с уверенностью сказал Ладо.

Кэту зарделась.
 Девушка-телефонистка с нескрываемым интересом слушала их разговор. Ладо протянул ей заполненный телеграфный бланк и попрощался.



Они вышли на улицу, миновали сквер и пошли по дороге, ведущей в Бечо.

— Машина нагонит в пути, — сказал Ладо.

Кэту молча кивнула в ответ.

Они долго шли молча, взявшись за руки, словно позабыв, что до деревни было двадцать километров; шли, не испытывая ничего, кроме той радости, которая владела ими от сознания, что они вместе.

— Кэту, — сказал вдруг Ладо, — мы с тобой созданы друг для друга.

— Темно, Ладо, — сказала Кэту, — я боюсь.

— Не бойся, со мной ты не должна бояться.

— Предчувствую я неладное.

— Перестань. — Он обнял ее и легко поднял на руки. Кэту как ребенок прижалась к его груди.

— Ты моя жена!

— Мне хорошо с тобой, Ладо. Отпусти меня, устанешь.

Звук машины нарушил молчание ночи. Свет фар прорезал темноту и осветил дорогу. Машина нагнала их и остановилась.

— А, это вы, друзья, — крикнул шофер. Ладо узнал голос Француза.

— Подвезешь? — спокойно спросил он.

— Если поедешь, — хмыкнул Француз.

Ладо помог Кэту подняться в машину. На переднем сидении дремал председатель колхоза.

— Вы из Местиа? — спросил он, очнувшись.

— Да.

— Хорошо, я вас встретил, из Местиа больше не будет машин, — сказал председатель.

— Да.

Ладо держал Кэту за руку. Рука была горячая. До самой деревни они не проронили ни слова. У столовой председатель остановил машину.

— С утра ничего не ел, зайдём перекусим, — предложил он.

— Я пойду, — сказала Кэту.

— Подвези ее до дому, — сказал председатель Французу.

Машина уехала.

Ладо с председателем вошли в пустую столовую.

Георгий снял шапку, провел рукой по облысевшей голове:

— Устал как собака.

Одноглазый буфетчик накрыл стол.

Ладо знал, что они не без причины вошли сюда, и был настороже.

После пары выпитых рюмок председатель нагнулся к Ладо и вполголоса проворчал:

— Ты с этой девушкой серьезно или...

— С какой девушкой?

— Брось прикидываться. Я в твоих же интересах говорю.

— Чего ты хочешь, Георгий?

— Если у тебя серьезные намерения, то надейся на меня, а если нет, тогда...

Ладо испытующе посмотрел на Георгия. У него были рыжие усы и хитрый взгляд карих глаз.

— Больше я тебе ничего не скажу, — проворчал Георгий.

Они подняли стаканы и чокнулись...»

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Поезд вышел из тоннеля и остановился. Стрелочник с красным флажком в руке грустно смотрел на состав. Ладо спрыгнул на перрон. Несколько пассажиров торопливо вынесли вещи из вагонов и бегом припустили в сторону белого станционного здания. Шел дождь. В выбоинах асфальта темнели лужи. Зазвонил колокол. Электровоз пронзительно свистнул. Поезд тронулся. Сонные лица людей прижались к окнам вагонов.

Сразу же за вокзалом началось море. Ладо миновал шлагбаум и вышел к длинной пристани. Море глухо гудело. Волны бились о мокрый безлюдный берег, откатывались назад, оставляя на песке беловатый след. Чуть дальше чернели бетонные волнорезы. В утреннем тумане смутно виднелись очертания города.

Море было огромно. Все вокруг, зеленые горы и холмы с разбросанными на них домами, походило на игрушки. По-прежнему лил теплый липкий дождь. Зимой в этих краях дождям нет конца. Земля, небо и, кажется, даже сами люди пропитываются влагой, и жизнь на побережье становится невыносимо скучной, но Ладо сейчас нуждался именно в такой атмосфере и мысленно благодарил Рома-

ноза Натенадзе, по настоянию которого профком издательства выдал ему двенадцатидневную путевку на Зеленый Мыс.

У шлагбаума показался мужчина в плаще и помахал рукой. Ладо подошел к нему.

— Вы в дом отдыха? — спросил мужчина.

— Да.

— Угадал, — улыбнулся мужчина. — Пойдемте, автобус ждет.

Они вышли на маленькую площадь.

В автобусе, кроме шофера и двух девушек, никого не было. Ладо сел за девушками и почистил рукавом куртки запотевшее стекло. Показались приземистое синее строение тира, продовольственный магазин и кафе-павильон на пригорке у моря. В ранний час все было закрыто, только у газетного киоска хлопотала женщина, закутанная в шаль. Площадь медленно пересек лохматый сеттер, поднялся на лестницу продовольственного магазина и улегся у входа.

Машина, шурша шинами по мокрому асфальту, поехала в гору. Дорога пролегала по кипарисовой аллее. Местами виднелись чайные плантации. Мужчина в плаще попытался завести разговор и спросил у девушек, не из Тбилиси ли они приехали.

Девушки утвердительно кивнули головой.

— Легко ли двенадцать дней выдержать? — после минутного молчания заметила одна из них.

— Я знала, что так и будет, — сказала вторая.

— Зимой здесь неважно, — виновато улыбаясь, ответил мужчина в плаще, — все время дожди. Не искупаешься... Вам следовало поехать в Бакуриани, вот где не соскучишься.

Бакуриани был в моде. Провести там несколько недель считалось хорошим тоном.

— Вы тоже из Тбилиси? — спросила Ладо одна из девушек.

— Да. — Ему было не до девушек, вообще ни до кого. Беседа на этом оборвалась, к тому же автобус въехал во двор двухэтажного белого здания.

— Дом отдыха «Зеленый Мыс»! — торжественным тоном провозгласил мужчина в плаще.

* * *

Приемная регистратуры сверкала, стены зала были выкрашены в кизилый цвет, того же цвета шторы висели на окнах. По углам зала стояли кресла. Из окон виднелись кипарисы, железнодорожное полотно и изрезанный дамбами берег моря. Ладо не пришлось долго ждать. Девушки довольно скоро вышли из регистратуры и последовали за дежурной. Они были высокие и худые, с коротко остриженными «под мальчишку» волосами, в ботинках на толстой каучуковой подошве. Женщина в белоснежном халате взяла у Ладо паспорт с путевкой и заполнила анкету.

— Комнатой останетесь довольны, — сказала она и, обращаясь к дежурной, прибавила: — Эрна, проводи в двенадцатую.

Комната в самом деле оказалась хорошей, светлой и уютной. Из окна как на ладони виднелось море.

— Это чья койка? — Ладо кивнул головой на соседнюю кровать.

— Пока ничья, — с улыбкой ответила дежурная.

Ладо только теперь обратил внимание на ее мягкие соломенного цвета волосы; слегка вздернутый нос и привлекательное, по-детски нежное лицо.

Он попросил никого не поделять к нему, если будет возможность.

— О! Вы, я вижу, любитель одиночества, — улыбнулась девушка.

— Выходит так. — Ладо снял пальто, повесил в гардероб, положил на полку чемоданчик.

Девушка по-прежнему стояла в комнате.

— Почему вы такой? — спросила она неожиданно.

— Какой такой? — не понял Ладо.

— Угрюмый. У вас неприятности?

Ладо еще более помрачнел. Он собрался было ответить девушке что-нибудь резкое, но ее голос и выражение лица были настолько искренни, что он только спросил, владеет ли она грузинским.

— Немножко, — ответила девушка и засмеялась.

— Надо научиться. Как-никак в Грузии живете.

— А кто научит? Вы вот, например, на сколько дней приехали?

— На двенадцать.

— Научите?

— Если сумею. — Ладо невольно улыбнулся.

— Сумеете, — весело сказала девушка, — вижу, сумеете. Только улыбайтесь, пожалуйста. Здесь нужно радоваться, веселиться, отдыхать, одним словом.

— Легко сказать — веселиться... — Ладо присел на койку.

Девушка некоторое время постояла в нерешительности, потом попросилась и вышла, сообщив, что завтрак в десять часов.

Ладо лег на кровать, не раздеваясь, и сразу же заснул как убитый. Проснувшись, Ладо увидел молодого человека в синей спортивной пижаме. Он быстро поднялся, пожал ему руку и представился:

— Ришард Журавский!

Рука у него была жесткая и сильная. Глаза голубые. Глядя на его по-женски нежное белое лицо, нельзя было предположить, что у него такая сильная рука.

Имя и фамилия соседа по койке заинтересовали Ладо. Он со студенчества дружил с поляками. Их было много в Грузии — потомков бывших ссыльных, еще со времен восстания Костюшко. Они совершенно огузинились, и Ладо не удивило, что Журавский говорит на чистейшем грузинском языке.

Прихрамывая, Журавский подошел к окну.

— А вот непогода мне не нравится, — он явно был настроен говорить.

— Здесь всегда так, — неохотно ответил Ладо.

Ладо взялся за роман Лаврентия Бедиани «Александр Македонский», Журавский принялся изучать газету.

Ладо так и подмывало изодрать в клочья это чтиво, но он всегда вспоминал об авторе книги и заставлял себя читать. Поля книги были испещрены воспрительными и восклицательными знаками. В конце концов Ладо не выдержал и с силой захлопнул ее.

Журавский с нескрываемым любопытством посмотрел на соседа по койке.

— Позвольте узнать, что вы читаете? — спросил он.

— Роман о жизни Александра Македонского, — усмехнулся Ладо.

— П...простите, а кто автор?

— Есть такой Лаврентий Павлович Бедиани.

— Н...не слышал, — Ришард пожал плечами. — Это его первая книга?

— Да, но он обещает написать целую серию в этом же роде.

— Интересно.

— Могу одолжить.

— Н... нет спасибо, не беспокойтесь, — вежливо отказался Ришард, давая почувствовать, что понял тон отзыва, но Ладо его уже не слушал.

Все его внимание было направлено на пиджак Ришарда, с прикрепленным к лацкану значком грузинского альпийского клуба — ледоруб и ощерившийся тигр на фоне двуглавой Ушбы.

— Вы альпинист? — спросил он.

— Да как вам сказать, — застенчиво ответил Ришард, — я часто бывал в горах...

— Где именно?

— На многих вершинах Кавкасиони.

— И на Ушбе? — Ладо от волнения присел на постели.

— Нет, на Ушбе не приводилось, — Ришард виновато улыбнулся, показывая ровный ряд крепких белых зубов, — А т... так, я ради Ушбы решил стать альпинистом. Н... не вышло. В прошлом году летом, перед тем как пойти на Ушбу, мы были на Чатини — легкая вершина...

— Знаю!

— Я там на тренировке ногу по...повредил, ну и понятно, на Ушбу не пустили. Сейчас не болит совершенно, разве что прихрамываю... Но замечаю — ребята меня считают списанным. — Ришард понурил голову. В голубых глазах его было столько грусти, что Ладо почувствовал всю тяжесть его переживаний.

— Я тоже хотел подняться на Ушбу, — задумчиво проговорил Ладо.

Ришард подошел к нему и сел на стул. Он был — весь внимание.

— Н...на каких вершинах вы побывали? — спросил он с нескрываемым интересом.

Ладо не сразу понял вопрос.

— Какое это имеет значение? — отмахнулся он, помедлив.

— Очень большое, — серьезным тоном ответил Ришард.

— Бывал только на студенческих альпиниадах.

— А, тогда не сможете.

Ладо обиделся, словно его оскорбили.

— Смогу! — сказал он угрюмо.

— Нет, не сможете, — Ришард улыбался, как улыбаются своенравному, но любимому ребенку, — нет, не сможете, Ушба — иное дело.

— А вы сможете? — Ладо раздражался все больше.

— Я натренирован. Я и сейчас тренируюсь, но в... все равно боюсь, — спокойно ответил Журавский.



— Моя Ушба меня подождет, — глухо бросил Ладо.

Ришард дружелюбно улыбнулся.

— Я тоже не теряю надежды.

Ладо почему-то вспомнил Тэмраза, его грустное лицо. Сидит, верно, сейчас у камина, играет на чунури и надтреснутым голосом поет «Мирангулу». «Я тоже хотел подняться на Ушбу», — как-то признался Тэмраз товарищу.

— Вы бывали в Сванетии? — Ришард первым нарушил молчание.

Ладо закрыл лицо руками. Ришард смеялся. Его взгляд упал на розовый рубец на лбу Ладо. Журавский понимал, что с парнем творится что-то неладное.

— Стучилось что-нибудь? — спросил он сочувственно.

— Ничего, — Ладо очнулся и, неловко улыбаясь, прибавил: — Извините, я вел себя как мальчишка.

— Как это вы сказали: «Моя Ушба меня подождет»?

— Да.

— И правильно, никогда не поздно, — улыбнулся Журавский. — Вот мы и познакомились.

Послышался осторожный стук в дверь. Ладо юркнул под одеяло. В комнату, не дожидаясь разрешения, вошла Эрна и, увидев лежащего Ладо, спросила, не болен ли он.

Ладо отрицательно покачал головой.

— Я пришла сказать, что скоро ужин. — Она повернулась к Ришарду: — Вам понравилась комната?

— Очень.

— А знаете, этот молодой человек — любитель одиночества, — она, смеясь, взглянула на Ладо. — Он просил никого к нему не подсаждать. Люди бегут от одиночества, а он его ищет!

Она говорила быстро, весело, беззаботно. Ладо поймал внимательный взгляд Журавского и подумал, что тот считает его сумасшедшим.

— Вставайте, вставайте, — продолжала Эрна, — пора ужинать.

— Я не голоден.

— Сколько вам лет, молодой человек? — она постаралась быть строгой.

— Двадцать семь, — ответил Ладо.

— А вам? — обратилась она к Ришарду.

— Я стар, как мир, — улыбаясь, сказал Ришард, — ровно тридцать,

— Я старше вас обоих, и следовательно, мое слово — закон. Поднимайтесь.

Ладо в самом деле хотелось остаться одному. Он закрыл глаза.

— Простите, ч... что спрашиваю, но вижу вас что-то гнетет, — неожиданно заговорил Ришард. — Не могу ли вам помочь?

Его голос звучал искренне.

— У меня умер отец, — не открывая глаз ответил Ладо.

Ришард и Эрна некоторое время молча постояли, потом Ришард накинул пиджак, и они вышли из палаты. Ладо лежал, не шевелясь, слушал глухой рокот моря, и его сердце наполнялось каким-то неосозанным, сковывающим все члены волнением.

Сейчас он был один и никто не мешал ему осознать, что творилось у него на душе. Он чувствовал, настала пора рассчитаться с самим собой, и главное, о чем он подумал, — невозможно плыть дальше по течению. «Люди бегут от одиночества, а он его ищет», — вспомнил он слова Эрны. Нет, он не искал одиночества, напротив, оно его мучало, и он не знал, как помочь себе, как избавиться от одиночества. Он только тогда и обрел душевное равновесие, когда был не один. А в данный момент — он сознавал это — разбросанные, противоречивые желания раздражают его и с беспощадной ясностью перед ним возникают вопросы — в чем смысл жизни, чем оправдано его существование? Надо искать этот смысл или поиск его вообще не имеет равным счетом никакого смысла? В чем правда и в чем кривда? Что надо предпринять или совершить, чтобы не исчезнуть бесследно? Вопросы настоятельно и упорно требовали ответа. Жажда душил род человеческий от сотворения мира, жажда самопознания, но чистый родник — один-единственный на свете — столь труднодоступен, что большая часть семени Адамова уже не обременяет себя его поисками, да, впрочем, и не испытывает этой жажды.

Ладо чуял — родник течет где-то поблизости, но он никогда не испробует животворящей влаги, если не найдет в себе силы искать до конца тропы, ведущей к нему. Только тогда перед ним раскроются чистые, голубые глаза родника.



Ладо робко приоткрыл калитку трифолиатовой изгороди. Из-под лестницы выскочила белая собачонка и залаяла лаем. К балкону вела узкая аллея с заасфальтированной дорожкой. По обе стороны ее росли мандариновые деревья, над головой во всю длину аллеики вилась виноградная лоза с облетевшей листвой. На балконе показалась женщина и, заслонившись ладонью от солнца, посмотрела на незнакомца.

— Вам кого? — спросила она.

Ладо, не зная, что ответить, молча смотрел на нее. Женщина бодро спустилась по лестнице во двор, прикрикнула на собачонку и направилась к нему. Она была худая, вся в черном. «Наверное, жена», — решил Ладо.

— Вам кого? — повторила свой вопрос женщина в черном.

— Здесь живет Георгий Думбадзе?

— А, к Георгию! Пожалуйста, прошу вас.

Она вошла в комнату, вынесла оттуда стул и, извинившись, вошла обратно, чтобы «взглянуть на Георгия».

Дом стоял на пригорке у самого моря.

Женщина скоро вернулась и с улыбкой, которая молодила ее лицо, пригласила Ладо в комнату. Они миновали гостиную, убранныю на старинный лад. Георгий лежал в смежной комнате.

У Ладо от волнения пересохло в горле; он молча пожал Георгию руку и, не дожидаясь приглашения, присел на стул.

Георгий приподнялся.

— Неужели сын Петрэ?! — И Ладо оказался в его объятиях.

Женщина стояла в дверях и подолом фартука отирала с глаз слезы.

— Видишь, Фати, сын Петрэ к нам приехал, — хриплым голос сказал Георгий.

Женщина обняла Ладо.

— Родненький ты наш!

Ладо вконец онемел. Он с трудом сдержался, чтобы не заплакать навзрыд. встал и отвернулся к окну. Золотой отблеск солнца лежал на море до самого горизонта. Ладо взял себя в руки.

— Как поживаете, дядя Георгий? — спросил он.

— Превосходно, превосходно, — поспешно ответил Георгий Думбадзе.

Его глаза из-под густых бровей и в самом деле смотрели бодро и вместе с тем задумчиво. Лицо его было гладко выбрито, поредевшие волнистые волосы, зачесанные назад, открывали широкий лоб.

— Садись, родной, почему стоишь, — Фатма пододвинула Ладо стул.

— Ну, рассказывай о себе, — обратился Георгий к Ладо. — Каким ветром тебя занесло в наши края?

— После несчастья... — слово застряло у Ладо в горле, — пристали на службе с отдыхом, не сумел отвертеться.

— Очень хорошо сделал. Где остановился?

— В доме отдыха. У меня путевка.

— Для чего тебе дом отдыха? Не мог у меня остановиться, что ли? Квартира зря пропадает.

— Неудобно как-то, дядя Георгий.

— Взгляните-ка на него! Слышишь, Фати?

— Как не стыдно, сынок, что здесь неудобного. Неси свои вещи и живи, пока не надоест. Мчуди с сыром будет, а за другое не обессудь.

— Спасибо, тетя Фати.

— Нечего благодарить, нечего.

— Помолчи, Фати, — вмешался Георгий. — Много ли радости отдыхать под одной крышей с немощными стариками. Там ему будет веселее, не так ли?

— Георгий подмигнул Ладо.

— Смотри, сынок, как тебе лучше, — согласилась Фати.

Напряженность первых минут встречи вскоре исчезла. У Ладо постепенно возникло такое чувство, будто он здесь не впервые, что с тех пор, как себя помнит, он знаком с семьей Георгия Думбадзе.

— Как вы меня узнали сразу, дядя Георгий?

— Сразу же, только увидел, сразу узнал. А ты, Фати?

— Нет, не узнала! Не могла себе представить.

— Да и я не ожидал увидеть здесь сына Петрэ Иашвили. — Луч радости светился в глазах Георгия. — Ты хорошо сделал, что вспомнил обо мне.

Старик с такой любовью говорил о своем друге, что Ладо с трудом сдерживал слезы. Он хотел рассказать о письме, которое осталось лежать нераспечатанным на кровати отца, но понимал, что этим сильнее взволнует Георгия, и промолчал.

— Расскажи... — попросил Георгий вполголоса. — Мучался?..

Дрожь пробрала Ладо.

— Не знаю, меня не было дома, я не успел.

— О господи боже, — тяжело вздохнул Георгий.

— Георгий, дорогой, тебе плохо станет, — мягко сказала Фати.

— Да хорошо, хорошо. — Георгий отер платком глаза и через силу улыбнулся. — Сейчас мы пообедаем, пара бутылок «одессы» пойдет нам на пользу. Ты с вином в каких отношениях?

— Да так, ничего, — улыбнулся Ладо.

— Тебя-то он переньет, — пошутила Фати.

— А это мы еще посмотрим!

— Ты раньше не умел хвастать, — улыбнулась Фати и вышла.

— Оберегает меня, — вздохнул Георгий. — Ей невдомек, что я старый волк, и, если расчувствуюсь порой, это еще не значит, что сдал. — Георгий задумался и продолжал: — Все друзья мои ушли: одних война забрала, других жизнь одолела. Твой отец у меня оставался...

Георгий плотно сжал губы. Он лежал на белоснежной подушке, в белой рубашке и коричневом вязаном жилете; в комнате стояли только его кровать и стол со свернутыми в рулоны листами бумаги, по всей вероятности, чертежами. Возле кровати до самого потолка выстроились книжные полки. Книги в большинстве были технические, на английском языке. В углу стоял радиоприемник, причем Георгий свободно мог до него дотянуться. Над радиоприемником висел портрет Эйнштейна.

В комнату вошла Фати и попросила Ладо помочь ей принести вина.

— Смотри, как бы она тебя не напоила допьяна, — пошутил Георгий.

Ладо с удовольствием последовал за Фати, он с радостью сознавал, что его приняли как члена семьи, и чувствовал себя свободно и легко.

Квеври были зарыты под тутовым деревом возле колодца. Фати деревянной лопатой сняла пласт глины, закрывавший квеври. При слабом свете солнца вино казалось черным. Фати осторожно опустила в квеври черпалку и протянула ее Ладо.

— Попробуй.

Ладо по обычаю благословил дом Георгия Думбадзе и поднес черпалку к губам.

Вино было темно-красное, шипучее, Ладо опорожнил черпалку. Фати снова ее наполнила.

— За твой приезд, родненький! Боже, храни Георгия, — проговорила она и отпила глоток. — Ничего, неплохое! Не женское дело — вино выдерживать, и тем не менее...

Ладо хотел сказать что-нибудь веселое, ободряющее, но, как это часто случается, вышло все наоборот:

— Тяжкий груз на вас лежит, тетя Фати.

— Что там груз, сынок, все вынесу, только бы Георгий был здоров. Нервничает он в последнее время, на сердце жалуется.

Ладо грустно посмотрел на свое отражение в вине: оно расплывалось, как только в квеври опускалась черпалка, и вновь обретало свои черты, чтобы снова стать пятном тумана.

— В прошлом году он какую-то специальную книгу перевел с английского, — сказала Фати, — извелся, работал, как говорится, дено и ноцно. В нынешнем году ее напечатают. А сейчас он составляет проект морезащитной полосы для всей Аджарии. Если к слову придется, похвали, родненький, подбодри старика; похвала в его положении очень важна. — Фати поставила на землю кувшин с вином и прибавила: — Только смотри — узнает, о чем я с тобой говорила, спуску мне не даст.

Ладо с удивлением и восторгом смотрел на сухонькую маленькую женщину. Ее тусклое лицо освещала мягкая, исполненная доброты улыбка. Он не знал, как выразить ей свою признательность и благодарность.

Фати схватила привязанную к большой плетеной корзине курицу.

— Зарежь-ка ее, — она протянула Ладо топор.

— Не надо, тетя Фати, к чему это!

— Давай, давай, а не то вода остынет, — Фати кивнула головой в сторону большого пня: — Можешь вон там.

Ладо с беспомощной улыбкой посмотрел на топор и взъерошенную курицу.

— Не могу, тетя Фати.

— Чего не можешь?

— В жизни не резал кур.

— А ну тебя, — Фати взяла топор из рук Ладо, — ладно уж, ступай к Георгию.



Ладо взял кувшин и вошел в комнату.
 — Вы что, весь квеври осушили? — спросил Георгий.
 — Замечательное у вас вино, дядя Георгий.
 — Фати выжимала, — сказал Георгий с гордостью, — сам

БОТ. МНЕ. ЕЕ
 813-0101933

послал.

Фати принесла низенький столик, поставила на него горячий мчади, свежий сыр, баклажаны, заправленные орехами, и ткемалевую подливу и разлила вино в высокие хрустальные стаканы. Вскоре на столе появилась жареная курица.

Тамадой был Георгий. Первый тост он провозгласил за хозяйку, пожелал ей сил и здоровья, чтобы вынести свалившиеся ей на плечи тяготы.

— Все об одном твердит, — пожаловалась Фати, — «желаю тебе вынести тяготы», и только. Нет чтобы сказать что-нибудь красивое, похвалить. Такая-де ты и такая-то. Денег что ли просят за доброе слово?

Георгий засмеялся.

— Поди ты, нимб себе требует старушка!

— А почему бы и нет?! Именно старухам нимб и требуется. Молодые без того коронованы нимбом, то лишь венцом.

— Позвольте мне, тетя Фати, — вставил Ладо.

— Давай, родненький, хоть ты меня порадуй.

— Не знаю только, как выразить словами, — Ладо рассеянно улыбался.

— Вот и у тебя язык к горлу прилип, — притворно обиделась Фати, — ничего не поделаешь, такова, видно, моя участь.

Ладо осторожно взял ее за худую жилистую руку и поцеловал.

— Будь здоров, сынок, спасибо.

Потом они выпили в помин души Петрэ. Георгий задумчиво вертел в руке пустой стакан и подробно, до мелочей расспрашивал Ладо о последних днях отца... Ладо обливался холодным потом, говорил с трудом, но где-то в глубине души чувствовал, что беседа приносит ему облегчение.

— Ради чего жил, значит, что сделал? — сказал Георгий, обращаясь к самому себе.

— Да, эти вопросы его мучили.

— Осенью я от него письмо получил, — сказал Георгий, — и в нем он про это самое спрашивал. Я ответил, что он утратил главное, основное.

— Отец не успел прочесть вашего письма.

— Основное! Без этого жизнь превращается в существование, сынок, — сказал Георгий, — а самая большая беда из всех бед на свете — это существование.

— А что это за «основное», дядя Георгий? — Ладо с напряженным вниманием ждал ответа.

Георгий посмотрел на него утомленными умными глазами.

— Надо искать! — ответил он коротко.

— Но как?

— Каждый ищет по-своему.

— А вы, как вы обрели «основное»?

— Сам видишь, под кровавым дождем...

— Скажите мне, дядя Георгий, — на лице Ладо появилось просящее выражение, — в чем основной смысл вашей жизни?

— В работе, сынок. Помнишь, слова Фауста: «Изначала было дело».

— Помню.

— И любовь. Такая, какая была у Эйнштейна. — Георгий показал рукой на портрет на стене.

— Жажда, — радостно сказал Ладо.

— Да, надо жаждать работы, жаждать любви, — сказал Георгий, — тогда все станет на свои места!

Ладо поднял стакан.

— Да здравствует любовь и дело, дядя Георгий! Да здравствует жажда!

* * *

Ришард Журавский, погрузившись в свои мысли, сидел один в палате. При виде Ладо он поднял голову и, улыбаясь так, словно просил помощи, посмотрел на него.

— Как вы провели время? — спросил Ладо, чтобы сказать что-нибудь.

— Я был на танцплощадке, — ответил Ришард и прибавил: — Удивительное дело — на этих самых т...танцах я вдруг понял, что п...постарел и мне ничего не остается б...больше, как сидеть в музеях и в...возиться со своей этнографией.

Он снова улыбнулся. Это была добрая улыбка человека терпеливого, од-

нако не безболезненно переносящего собственное положение и к тому же да-
леко не подавленного.

— Ну, уж о старости вам говорить рановато, — сказал Ладо.

— Я говорю искренне! Жизнь прошла как-то стороной в бесконечных скитаниях по музеям и г...горам.

— Жалеете, что ходили в горы? — спросил Ладо.

— Нет, это единственное, о чем я не жалею.

— Я бы сказал то же самое, когда бы был альпинистом.

— Помните, вы как-то сказали: «Моя Ушба меня подождет»? Что вы имели в виду?

— То, что сказал, ничего больше.

— Скрытный вы человек, — обиженно заметил Ришард.

— У меня есть друг, Нукри Вирсаладзе, вы его мне напоминаете, — перевел разговор Ладо.

— Чем?

— Он вроде вас, — Ладо задумался на мгновение, как бы подбирая наиболее точную фразу, — он вроде вас мягкий или, вернее, всепрощающий человек.

— Всепрощающий и мягкий не одно и то же — возразил Ришард.

— Людям надо прощать, я убежден в этом!

«Надо жить для других», — вспомнил Ладо слова Георгия Думбадзе.

— Наверное, вы правы, — сказал он вслух и почувствовал, что случайное знакомство превращается во что-то прочное и уж во всяком случае не оборвется легко и просто...

Ладо задремал. Ему привиделся отец. Петрэ сидел в своем просторном кресле и напевал «Мирангулу». Видение было настолько отчетливым — у Ладо сердце выпрыгивало из груди. Но вот удивительное дело — отец в жизни не пел «Мирангулу». И тут вместо Петрэ явился Тэмраз. В руках он держал чунури, глаза у него были грустные. Потом Ладо с Ришардом в альпийском снаряжении шагали по заснеженному склону. И острием ледоруба Ладо выводит на девственном снегу имя — Кэту!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В вестибюле у окна сидела Эрна с вязаньем.

Отдыхающие уже спали.

— Где вас нелегкая носит, молодой человек? — с деланной строгостью спросила девушка Ладо, вернувшегося из Махинджаури в полночь, — отдыхающим опаздывать запрещено.

На вокзале Ладо повстречались знакомые ребята из Тбилиси, не обошлось, понятно, без бутылки шампанского. Он рассказал об этом Эрне.

— Вы сюда приехали отдыхать, а не кутить, — прежним тоном заметила она, — а я сижу и жду, пока вы изволите пожаловать.

— Меня ждете?

— Да, к сожалению.

— Почему к сожалению?

— Потому что я хочу спать.

— Вы дежурная сегодня?

— Да.

— Я подежурю вместе с вами.

— Только этого не доставало!

— Вам очень хочется, чтобы я ушел?

— Мне все равно, — пожала плечами Эрна.

— Тогда я пойду.

— Опоздал, а еще обижается, — пробурчала Эрна, — вы мне не мешаете.

Она была в своем белом халате с монограммой на нагрудном кармане. Ладо присел на ручку кресла рядом с ней. Осторожно погладил рукой тщательно причесанные волосы.

Эрна вздрогнула, испуганно посмотрела на него.

Неоновые свечи слабо освещали вестибюль и часть коридора. Приглушенный рокот моря доносился издали.

— Вы дитя, Эрна, большой ребенок, — сказал Ладо.

— Милый мой, — вздохнула Эрна, — детства-то я и не знала, стороной прошло детство.

Они помолчали.

В дальнем конце коридора раздался звонок. Эрна поднялась.

— Старушка тут одна, — пояснила Эрна, — наверное, гредку просит, я сейчас вернусь.

Ладо уставился в темноту. Ему вдруг захотелось уйти. Он не любил случайных, мимолетных связей, недовольство собой овладевало им, казалось, будто

его обманывают, обкрадывают его душу, и он поднялся, чтобы уйти, но какая-то неведомая сила заставила его остаться.

Эрна вернулась.

— Вы что приуныли? — спросила она, глядя на его расстроенное лицо.

— Не знаю, Эрна.

— А я вот знаю! Жалеешь, что сидишь со мной. Мысленно проверяешь каждый свой поступок. Ничему не можешь отдаться до конца. Не хорошо. Такие люди редко бывают счастливы.

— А ты умница, Эрна, — тихим голосом сказал Ладо.

— Жизнь прожила, много всякого видела, — взгляд ее упал на шрам. — Я все хотела спросить — что это с тобой стряслось?

Ладо вздрогнул:

— Я потерял женщину и приобрел это, — Ладо пальцем дотронулся до шрама.

— А где она сейчас?

— Далеко, в горах.

— Ты ее по-прежнему любишь?

Он промолчал, и она сказала:

— Я нарочно спросила, хотела услышать, что ты ответишь. Почему ты усложняешь жизнь? Поверь, у меня за плечами горький опыт, потому и говорю...

Ладо опустил голову.

— Кто знает, может, ты и права.

— Не может быть, а точно! Вот я, к примеру, давно должна была бы покончить с собой, если бы не смотрела на жизнь проще. Человек есть человек, и он хочет жить.

— А что ты собираешься делать дальше?

— Ничего. Может, останусь здесь, может, вернусь в Латвию, кто его знает.

— Хочешь поедем в Тбилиси? — неожиданно предложил Ладо.

Эрна подалась вперед:

— А что я там буду делать?

— Работать.

— А чем Тбилиси лучше Зеленого Мыса?

— Тем, что я там живу, — улыбнулся Ладо.

— А, я и позабыла. А с кем ты там живешь?

— Один.

— Ты часом не жениться на мне собрался? — Эрна громко рассмеялась.

— Нет.

— В любовницы, значит, прочишь?

Ладо нахмурился, слова Эрны его задела:

— Я говорю с тобой как с другом.

— Ой, Ладо, будь я моложе лет на десять, и вправду была бы неплохой женой. Знаю, какая тебе женщина нужна. Такую я и была. Теперь поздно все начинать сначала. Да и ты, видно, никого не сможешь по-настоящему полюбить, кроме той...

— Ты права, — тихо сказал Ладо.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Георгий лежал, как всегда, в белоснежной постели. Он энергично пожал руку молодым людям, радостная улыбка осветила его лицо. На столике возле кровати — свернутые чертежи, книги, листы бумаги, исписанные четким ровным почерком.

— Мой друг Рихард Журавский, — представил Ладо товарища.

— Очень приятно, — ласково улыбнулся Георгий, — вы поляк?

— Д... да, по... происхождению.

— А вы бывали в Польше?

— Нет, к стыду своему.

— Надо, надо повидать землю своих предков, — сказал Георгий, — а из каких мест происходят Журавские?

— Кажется, из Кракова.

— Краков, — задумчиво проговорил Георгий. — Да, мне пришлось там побывать во время войны. Тогда почти вся Польша представляла собой одни сплошные руины, но вы не можете себе вообразить, как оптимистично был настроен каждый поляк. Кажется, ни одна страна так быстро не залечила раны войны, как Польша.

— Так было всегда, — заметил Ладо.

— Да, да, — согласился Георгий, — судьба Польши в этом отношении

очень схожа с судьбой Грузии. Вражеские полчища тысячи раз разоряли обе страны, и тысячи раз они восставали из пепла.

Окно с видом на море позолотили лучи закатного солнца. И на самом горизонте дрожала широкая неровная золотистая полоса. Узловатые ветви мандариновых деревьев чуть не заглядывали в комнату. Чувствовалось нежное дыхание приближающейся весны.

— Еще немного, и природа начнет пробуждаться. Нет ничего лучше в эту пору, чем выйти на воздух. Скоро потрескаются почки деревьев и явится весна, — проговорил Георгий и, взглянув на Ришарда и Ладо, опустивших головы, окликнул их: — Эгей, молодежь, вы что же носы повесили? С меня достаточно и того, что весна глядит ко мне в окно... Хотя бы Фати дома была, угостила бы...

— А где тетя Фати? — поинтересовался Ладо.

— На чайной фабрике. Как назло именно сегодня она работает во вторую смену.

— Трудно ей, наверное, — посочувствовал Ладо, — семья, работа.

— Что поделаешь, — махнул рукой Георгий, — одной моей пенсии маловато, вот и приходится бедняжке разрываться на части. Сходи-ка, Ладо, в соседнюю комнату, принеси водки и закусь что найдется.

Ладо провел рукой по папке, которая лежала у него на коленях:

— Мы к вам по делу, дядя Георгий.

— По делу? Я вас слушаю.

— Помните, я вам говорил, что заканчиваю рассказ.

— Как же не помню, ну и что?

— Я закончил его и хочу вам прочитать.

— Молодец, читай. Не ахти какой я критик, но все же, — Георгий заметно оживился.

У Ладо от волнения пересохло в горле. Он дрожащими пальцами раскрыл папку и вытащил рукопись. На мгновение ему представились вычеркнутые и испещренные вставками страницы, написанные мелким, неразборчивым почерком, и он заволновался пуще прежнего, но желание прочесть другу отца свою сокровенную книгу взяло верх. При чтении первых страниц его голос звучал неуверенно, он читал и отмечал про себя, что не понимает прочитанного; слова существуют как-то сами по себе и кажутся случайными, порой чуждыми. Медленно, очень медленно вырисовался ритм, а за ним и оттенки слов, их подлинный вес и смысл.

КНИГА УШЫ

(Заключительная часть)

...25 ноября 1959 года в сельском клубе состоялся концерт хора учеников. Хором руководил Тэмраз Джачвлиани. Концерт давался бесплатно, и сообществе об этом крестьяне встретили весьма благожелательно.

— Если бесплатно, так сходим, отчего не сходить, — сказал один из них, почесывая затылок.

Он выражал мнение большинства.

Кучу, одноногий сторож сельского клуба, вымыл полы и украсил давно некрашенные стены плакатами, одолженными на почте.

В тесном зале почти от стены к стене стояли длинные лавки. Короткий выцветший занавес скрывал сцену. Оттуда доносились приглушенные смешки и виднелись ноги хористов, снующих взад-вперед.

Маленький зал быстро наполнился людьми. Приходили рослые, плечистые крестьяне, садились, неторопливо сворачивали сигарки, затягивались, выпускали клубы табачного дыма, скрадывали тем самым минуты ожидания: дети некоторых из них сегодня выступали впервые, и им, понятно, не терпелось их послушать.

Кучу стоял в дверях и отбивался от настырных подростков, пытавшихся со своими стульями проникнуть в зал. Кучу был гладко выбрит, одет в старую военную форму и всеми силами старался привлечь внимание односельчан: он останавливал каждого и, словно давным-давно не встречался с ним, спрашивал о самочувствии.

— А, Кучу...

— Ну и будет представление, доложу тебе, — таинственно шептал Кучу.

При виде Ладо и Тэмраза он почтительно уступил им дорогу.

— Ну, Кучу, — сказал Тэмраз, — сегодня все от тебя зависит, ты хозяин!

Кучу зарделся: у него был бас и он служил мощным подкреплением школьного хора.

Тэмраз
302-010033

— Входите, дети, входите, хорошие, — обратился Кучу к сгрудившимся в проходе ребятишкам и, постукивая деревянной ногой, поплелся к сцене. Тэмраз уже поднялся туда. Ладо принялся рассматривать зрителей.

Вошел главный врач больницы в сопровождении своей хуленькой жены. Они принесли с собой ступля и заняли место перед самой сценой.

Председатель сельсовета огромным пузом пробил себе дорогу и сел, заполнив грузным телом место на троих. Георгий, председатель колхоза, в кепке, лихо сбивой набекрень, подмигнул Ладо и шумно повернулся к женщинам, закутаннным в шали, намереваясь рассказать им очередной анекдот.

Пришла учительница с грудным младенцем на руках. Ребенок спал. Отец семейства, грозно сверкая глазами, шагал рядом.

Директор школы кивком головы поздоровался с Ладо и уселся рядом с врачом.

Громко, нетерпеливо шумел зал. Мальчики и девочки, устроившись прямо на полу, хлопали в ладоши, вызывая «артистов» на сцену. И в это время показались Кэту и вслед за ней — Чопэ.

Чопэ согнал с места ребят, усадил Кэту и сел рядом с Ладо. Кэту опустила голову и так и сидела с опущенной головой.

Чопэ улыбался во весь рот, вызывая поглядывая на Ладо. Тот спокойно выдерживал его взгляд.

— Ты парень что надо! — сказал вдруг Чопэ.
— Ты тоже, — Ладо, к своему удивлению, быстро нашелся.

— Я? — спросил Чопэ. — Я, значит, тоже хороший?.. — Он хотел сказать что-то еще, но подняли занавес, и под веселый смех замешкавшийся Кучу заковылял в глубь сцены и спрятался за спинами учеников.

Тэмраз улыбался, видя весь комизм ситуации, который усугубляли неестественно вытянувшиеся хористы в чохах и длинных платьях, висевших на них, как на вешалках.

Шум постепенно утих. Тэмраз пригладил рукой волосы и надтреснутым, но звонким голосом объявил название песни. Потом повернулся к хору и слегка взмахнул карандашом.

Высокий голос затянул «Лилео»*, хор подхватил.
Словно миражи, возникли высокие белые башни... сверкающая Ушба...

Здоровенные сваны, озаренные красным отблеском пламени, били огромными молотами по наковальне... И повсюду было солнце!.. Раскаленный солнечный шар...

Песнь звала ввысь, в небо. Она в какой-то миг заставила Ладо забыть, что ее исполняли дети, — слишком величественно звучал стройный, очищающий душу сказ. Казалось, могучий дух предков ожил и предстал во плоти.

Песнь кончилась. Зал притих на минуту и разразился громом аплодисментов. Хлопали от души, изо всех сил.

— Вот тебе и мелюзга сопливая, — переговаривались крестьяне. Гордость звучала в их голосах, гордость была в их глазах, и Ладо невольно передался душевный настрой зала.

Потом пели «Беткил» — древнюю плясовую песню; певцы взяли друг друга под руки и медленными, до предела завершенными движениями повели хоровод.

«С богиней спал Беткил. Богиня Дали любила Беткила. У Дали были волосы золотые до пят и груди крепкие... Любовь богини тяжела... Горе тебе Беткил, горе тебе...»

...Изменил Беткил богине — влюбился в Тамар, свою невесту. У Тамар были глаза лани, глаза прекрасной лани, Дали почувала измену. Горе тебе, Беткил, горе тебе... Дали в образе белого тура заманила Беткила в горы, и в пропасть сорвался Беткил, ибо так хотела Дали! Отомстила богиня охотнику. Горе тебе, несчастный Беткил, горе! Почему ты, несчастный, изменил богине? Почему ты изменил богине Дали?..»

Ученики опустили головы и окаменели.

Ладо посмотрел на сцену, увидел улыбающегося Тэмраза и вдруг почувствовал, что очень к нему привязан.

Потом танцевала Мациса, плыла по сцене с гордо поднятой головой — ни единого лишнего движения. Она сознавала, что хорошо танцует, казалось, она любовалась собой, и ей хотелось показать свое искусство, понравиться всем.

— Ну и ну, этот Тэмраз! — сказал кто-то, видимо, выразив одной фразой величайшую похвалу руководителю хора.

— Точно, — согласился второй.
Хор пел «Бимурзелу». Голоса звучали сурово, лица казались неприступ-

* Древний гимн солнцу.

ными. Ладо прежде не слышал этой песни и не понимал сванского наречия, но чувствовал — пелась она о мужестве, удали и потоках крови.

— Молодецкая песня! — восторженно воскликнул Чопэ и обернулся к Ладо. — Ну, что скажешь? Бека — настоящий мужчина!

— Я не понимаю, — сухо ответил Ладо.

— Бека был охотник. Бимурзела похитил у него жену. Бека вернулся с охоты и узнал об этом. Тогда он отправился в Местна и убил Бимурзелу. Так-то! — Чопэ замолчал и выжидающе уставился на Ладо, но не дождался ответа и продолжил:

— Потом он убил своего деверя и зарезал пегого быка и созвал людей на пир.

— А если жена его не любила? — спросил Ладо.

— Как то есть не любила?

— Хотел бы я знать, как бы ты поступил на месте Бека! — злость все больше завладевала Ладо.

Чопэ расхохотался, обнял Кэту и с силой притянул ее к себе. Она украдкой с упреком взглянула на Ладо и высвободилась из объятий жениха.

— Кто ее у меня отнимет, или, может, ты?!

Ладо принужденно улынулся.

— Я пошутил, — сказал он.

— Ты парень что надо! — повторил Чопэ.

Концерт окончился. Занавес опустили, но зрители долго не расходились, оживленно обменивались впечатлениями, потом как-то все разом, в беспорядке кинулись к выходу.

Тэмраз, Мациса и Ладо вышли последними. Ночь была морозная и темная, хоть глаз выколи. Мгла поглотила Ушбу, Затвердевшие комья земли с хрустом рассыпались под ногами. Мацисе в длинном до пят платье идти было трудно, и они поздно ночью добрались до деревни. Откуда-то доносился голос репродуктора. Передавали последние известия. Ладо вдруг захотелось очутиться в Тбилиси. Никогда прежде так остро не ощущал он тоски по родному городу, своему дому, отцу, который, верно, сейчас, сидя за письменным столом, внимательно просматривает контрольные работы учеников..

Наконец они добрались до дома. Дети спали. Тэро сидела у камина и задумчиво смотрела в огонь. Из-под черного платка виднелись одни глаза. Она казалась столетней старухой.

Встретила она их молча, поднялась, накрыла стол, подбросила в камин дров. Огонь разгорелся. Длинные тени заплясали по белой стене.

Тэмраз на цыпочках приблизился к спящим детям, вздохнул, поцеловал каждого и, словно устыдившись своих чувств, тотчас же отошел.

Ладо с тяжелым сердцем сидел за столом. Путаные мысли роились в его голове.

— Мне очень понравился концерт, — проговорил он наконец.

Тэмраз понимал, что это сейчас меньше всего интересовало Ладо.

— О чем вы с Чопэ разговаривали? — спросил он.

— Тяжело мне, — вздохнул Ладо.

— А может, ты себя обманываешь?

Тэмраз испытующе на него посмотрел.

— Едва ли.

— Ты не знаешь Сванетии, — заметил Тэмраз, как и в тот раз, при первой встрече, — ты и сам говорил, что она представлялась тебе иной.

— Послушай, Тэмраз.., в городе все как-то легко дается.. Как бы между прочим.. А я хочу, в конце концов разобратся, кто я!

— Ты думаешь, здесь разберешься?

— Посмотрим, может, и разберусь.

— И мне так казалось, — задумчиво проговорил Тэмраз, — да ничего из этого не получилось.

— У меня получится.

— Что ж, дай бог.

— Тэмраз, пойдем со мной к Кэту, — голос у Ладо дрогнул, — я ничего скрывать не собираюсь.

— Я пойду с тобой, только знай, в Сванетии такого еще не случалось.

— Ну так случится!

— И я был таким же, как ты, — грустно сказал Тэмраз, — а сейчас уже поздно что-либо изменить, — он подошел к кровати, где спали дети, поправил одеяло и прибавил: — Ради них и живу. Иное — твоя жизнь.

Ладо вышел в соседнюю комнату, зажег свет, взял с полки томик Важа Пшавела, единственную книгу, которую привез с собой. И принялся читать.

...На следующий день он скомкал последний урок и поспешно покинул класс. Молочный туман окутывал горы. Черные деревья покорно ждали зимы.

Воздух не двигался. Не сегодня завтра непременно выпадет снег и окрестности погрузятся в глубокий, долгий сон.

В читальне маленькие девочки, слюнявя пальчики, перелистывали страницы книг. Они встали, вежливо поздоровались с учителем. Кэту что-то было не по полкам. Ладо знаком разрешил детям сесть, взял со стола газету и прислонился к стене. Печная труба выходила в окно. Светло-сизый дым тянулся вверх. В комнате было тепло.

Кэту обернулась. Выражение удивления и радости одновременно появилось на ее лице.

— Я не ожидала тебя, — проговорила она вполголоса.

Дети сложили книги и, стараясь не шуметь, вышли из читальни. Кэту не обратила на них внимания, прислонилась к дверному косяку, потом снова подошла к полкам, бесцельно перебрала несколько книг. Радость была в ее сердце, и она улыбнулась своему чувству.

Ладо приблизился к ней.

Они стояли лицом к лицу, но не смотрели друг на друга.

— Я с Тэмразом придем к вам... Кэту.

— Не надо, Ладо, нельзя.

— Чему быть, того не миновать! — ответил Ладо.

Снег повалил сразу, хлопьями. Голые ветви деревьев пригнулись к земле. Зима не заставила себя ждать долго. Сельские дела отложены. Люди сидят в домах, плетут сказки, коротают скучные белые зимние дни.

«Дарбази» — гостиные — набиты душистым сеном; скотина, тяжело вздыхая, пережевывает его долго, тщательно, должно быть, с сожалением вспоминая о зеленых лугах.

На чердаках висят окорока, подвалы засыпаны картофелем, в бутылках крепчает водка.

...Старый Джанхват сидел у камина, набивая трубку, напевал вполголоса старинные народные песни о молодецкой удали.

Узкие, затерявшиеся в морщинках щелки его глаз заискрились радостью при виде гостей. «Гость от бога, есть с кем поговорить, пропустить стакан другой водки. Зимой водка благодать!».

— Эгей, девочка, бог гостей нам послал, накрывай стол, да поживее!

Кэту испуганно смотрела на Тэмраза и Ладо, которые на пороге стряхивали с одежды снег. Они подошли к старику, поздоровались, присели у камина. Ладо искоса посмотрел на Кэту. Он в эту минуту чувствовал себя так, словно перед ним враг и надо его одолеть во что бы то ни стало.

— Чего стоишь? — прикрикнул на девушку Джанхват. — Накрывай на стол.

Кэту вышла в соседнюю комнату.

Старик ждал слова гостей, но те упорно молчали, и он не выдержал, вздохнул и заговорил о погоде — «на дворе зима окончательно установилась, и скоро закончатся дорожки, но это меня, Джанхвата, мало беспокоит, не в новинку зима, переживем».

Тэмраз сообщил, что скоро начнут строить Ингурскую ГЭС, и тогда проведут в горы новую дорогу, она будет открыта круглый год.

— ГЭС? А это что за чертовщина? — недоверчиво спросил Джанхват.

— Электростанция, — объяснил Тэмраз. — Она дает свет.

— А вот он, свет, — старик показал кривым толстым пальцем на электролампу, — или не хватает?

— Пожалуй, не хватает, — сказал Тэмраз.

— Довольствуйтесь малым, не гневите бога, — старик затаился из трубки, выпустил дым и сплюнул в камин, — пожили бы с мое...

— Ты человек старого закала, Джанхват, известное дело, — польстил Тэмраз.

— Старого, да крепкого, — почему-то обиделся Джанхват.

Тэмраз краем глаза посмотрел на Ладо. Он был необыкновенно возбужден. Тэмраз чувствовал, что это не предвещает ничего хорошего, и спешил покончить с делом, но не знал, с чего начать.

В соседней комнате Кэту, прислонившись к дверям, старалась не упустить ни слова из разговора мужчин. Нино сидела на тахте, вязала чулки.

— Кто это там пришел? — спросила она, не отрываясь от вязания.

— Тэмраз Джачвлиани и... — Кэту осеклась, словно испугалась, что, назвав имя Ладо Иашвили, она выдаст Нино свою тайну. — Учитель новый, который из Тбилиси приехал, — договорила она с деланным безразличием.

— Чопэ был пришел, угощать-то некому, дед напьет, понесет чепуху, — Нино отложила вязание, достала с полки головку сулгуни и начала резать на толстые ломти.

Кәту при упоминании Чопэ задрожала, как в лихорадке, побледнела.

— Они по делу пришли, — сказала она нерешительно...

Нервы Ладо были напряжены до предела. Он обернулся к Тэмразу.

— Говори же, почему мы пришли!

— погоди! — оборвал Тэмраз.

— Говори! — повторил Ладо. — Говори!

— Куда спешишь, в зимнюю-то пору, — сказал старик, — угоститесь

сперва, чем бог послал. Кәту, куда ты запропастилась, эй, девочка!

Кәту бессильно опустилась на тахту, ее глаза лихорадочно блеснули; она

хотела обнять Нино и во всем ей признаться.

— Что это с тобой происходит? — удивилась Нино. — Накрой гостям

стол. Кәту не смогла удержаться и заплакала. Нино удивленно на нее посмотрела, вздернула худые плечи, взяла тарелки, вышла, поздоровалась с гостями и вернулась обратно.

— Что с тобой творится, Кәту?

— Ничего, — прошептала девушка.

Нино в эту минуту была для нее совершенно посторонним человеком. Нино не сказала больше ни слова, сама вышла к гостям.

Какая-то сила заставила Ладо вскочить с места.

— Где Кәту? — он преградил Нино дорогу.

Взгляд Нино был ледяным.

— Что вам от нее надо?

«Все погубило», — с горечью подумал Тэмраз и схватился руками за голову.

— У меня дело, — сказал Ладо.

— Какое дело, батона?

Старик, крихтя, поднялся со своего кресла.

— Я и Кәту... мы любим друг друга!

Наступила мучительная тишина. У Ладо ломило в ушах, он чувствовал смертельную усталость. Откуда-то издали догослись приглушенные голоса.

Джанхврат: — Или я ослышался, Тэмраз?

Нино: — Кәту помолвлена.

Джанхврат: — Как бы кое-кого не бросили собакам на съедение, подумай об этом, Тэмраз.

— Ладо, — Тэмраз с силой встряхнул его за плечо, — ты что, не в себе?

— Позовите Кәту, — повторил Ладо.

В дверях показалась Кәту с гордо поднятой головой. Пронзительный взгляд старика приковал ее к месту.

— Позорить семью я никому не позволю, — дискомом вскрикнул Джанхврат. — Не заставляйте меня проливать кровь, меня — и без того несчастного отца! — Он посмотрел на стену, где висела фотография сына и невестки: — Вот, кланюсь прахом моего Мурзы!..

— Кәту! — вырвалось у Ладо. — Говори же.

Кәту стояла с таким видом, словно все происходящее ничуть ее не касалось.

— Что ему надо, дочка, чужому человеку? — спросила Нино.

— Не знаю, — отчетливо, твердо произнесла Кәту.

— Ты ведь тут ни при чем, дочка? — с надеждой на утвердительный ответ спросила Нино.

— Нет!

Ладо онемел.

Тэмраз схватил его за руку.

— Пошли! Немедленно!

— Ступай поищи свою дорогу в жизни, — сухо сказала Нино.

— Свою дорогу? Хорошо, поищу, — Ладо горько усмехнулся.

— Тэмраз, знай, с тебя спрос! — угрожающе прохрипел старик. — Он чужой. Если не я, то Чопэ отомстит.

Кәту не шелохнулась..

...Окрестности затонули в молочном тумане. Мело. Ноги по колени проваливались в снег. Снежинки налипали на лицо. Стояла полная тишина. Мороз отрезвлял. «Все кончено, теперь можно спокойно доживать свой век», — подумал Ладо, и бешеная злоба овладела им.

Ладо в одежде валялся на постели, когда послышался тихий стук, и дверь растворилась, и в комнату скользнула чья-то тень, наполнив ее дыханием зимы. Ладо взгляделся, но ничего не сумел различить.

— Кто это?

— Я.

Ладо показалось, что все это ему снится.

— Кэту? — недоверчиво проговорил он. — Ты пришла, Кэту?

— Да.

— Ты решилась?

— Да.

Теперь Ладо уже видел ее.

Кэту нацупала стул, сняла пальто и платок, перевесила их на спинку и села.

— Ты простишь меня, Ладо?

Вопрос показался ему бессмысленным, он подошел к ней, обнял за плечи: Кэту робко прижалась к нему.

— Мне холодно, — она дрожала всем телом.

Ладо поднял ее на руки.

За окном шел снег. Мороз разрисовал стекла.

— Мне холодно, — повторила она глухо.

Ладо осторожно уложил Кэту на кровать, стал возле нее на колени, прижался головой к ее груди. Сердце девушки учащенно билось.

— Я боюсь, — прошептала она. — Ты меня простишь?

...Голова Кэту лежала на плече Ладо. Она прижалась к нему своим гибким телом, слезы катились по ее щекам.

— Не плачь, Кэту, не надо.

— Мне так лучше, дорогой.

— Прошу тебя, не плачь.

— Хорошо. Скажи мне что-нибудь.

— Как тебе удалось уйти из дому?

— Все заснуло, и я ушла. После приходил пьяный Чопэ. Дедушка обо всем ему рассказал. Он хотел идти к тебе, кричал, что убьет. Насилу его успокоила, пообещала завтра же выйти за него замуж, — Кэту, глотая слезы, с трудом выговаривала слова.

...Она училась в девятом классе, когда пришли ее сватать. Джанхват согласился. Кэту и не думали спрашивать... Испуганная девушка тайком уехала к дяде в Сухуми. Написала оттуда письмо, просила-умоляла, говорила, что хочет учиться, но ничего из этого не вышло.

— Когда от свана уходит нареченная, это самый большой позор, — сказала Кэту, — тебе не понять здешних обычаев...

— Ну хорошо... Успокойся... — бормотал растерявшийся Ладо и неловко гладил ее большими руками.

...У Кэту были горячие, упругие девичьи губы.

Ладо распустил ее толстую косу, поцеловал волосы, жадно вдохнул их запах.

Они говорили шепотом. Ладо был исполнен веры в собственные силы.

«Мне кажется, я могу совершить невозможное». — «И мне тоже, Ладо». — «Уйдем отсюда, Кэту, завтра же уйдем». — «Нет, дорогой, нельзя этого делать. Чопэ и под землей нас отыщет». — «Как же быть, что делать?» «Ничего», — прошептала Кэту. «Я хочу, чтобы ты всегда была со мной». — «Я тоже».

Со двора донесся крик петухов. Кэту поцеловала Ладо в лоб. Было что-то материнское в ее поцелуе...

— Не уходи, Кэту! — он обнял ее.

На мгновение оба ушли в забытие. Первой очнулась Кэту.

— Отпусти меня, Ладо!

— Завтра же я объявлю в деревне, что ты моя жена.

— Ой, нет!...

— Тогда убежим.

— Нет!

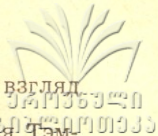
— Жалко тебя, Кэту.

— Мне ничего другого не надо, Ладо, только бы видеть тебя издали, мне ничего не надо...

И опять раздался петушиный крик.

Ладо сидел в учительской, один, за столом, покрытым красной тканью, и просматривал журнал девятого класса. Декабрь был на исходе. Ослепительная белизна гляделась в заснеженные окна. Он старался внимательно пересмотреть журнал: надо было выставить отметки за вторую четверть, но прошлая ночь не выходила у него из головы, в ушах по-прежнему звучал голос Кэту, и он заново ощущал прикосновение ее гибкого тела. Свершилось то, что должно было свершиться. Но как быть дальше?..

Приход уборщицы вывел его из раздумий.



— Вас зовут, батано, — сказала она и в ответ на вопросительный взгляд прибавила: — Чопэ, брат директора.

До звонка оставалось пятнадцать минут. Ладо решил было дождаться Чопэ и выйти вместе с ним, но Чопэ мог подумать, что он струсил. Ладо взял пальто и сбежал по ступенькам во двор.

Чопэ был в тулупе, из его широких ноздрей, словно табачный дым, валил пар.

— Здравствуй! — поздоровался Ладо.

Чопэ с ненавистью посмотрел на него, ничего не ответил.

— Зачем пожаловал?

— Поговорим в другом месте.

— Где угодно, — ответил Ладо.

Они шли по проптанной в глубоком снегу тропинке. Снег был повсюду и на всем, как огромная пастушья шапка, лежал он на заборах и деревьях...

Они подошли к столовой.

— Зайдем, — сказал Ладо и, не дождавшись ответа, пошел впереди.

В столовой было тепло. Пахло жареным луком и пряностями. Чопэ расстегнул тулуп, стряхнул с себя снег, молча сел за стол. Кроме них, в столовой никого из посетителей не было.

— Найдется что-нибудь поесть? — спросил Ладо одноглазого буфетчика.

— Не густо, — ответил буфетчик, — разве что рыбные консервы и колбаса. Вчера получил.

— А что, разве машины ходят? — поинтересовался Ладо.

— Конечно, снег невелик. В Местиа и Дизи мрамор вывозят, спешат.

— Самолеты летают, не знаешь? — продолжал расспросы Ладо.

— Говорят, летают.

Связь с Большой землей не была прервана, это его обрадовало — еще не поздно уехать с Кэту.

— Консервы и бутылку водки.

— Нет нужды, — резко бросил Чопэ.

— Мне лучше знать.

— Не тебе, а мне! — Чопэ с силой стукнул кулаком по столу.

Подпрыгнула и перевернулась солонка, буфетчик своим единственным глазом покосился на Чопэ и перевел взгляд на Ладо.

— Он обижен немного, — сказал ему Ладо, — это у него пройдет.

— Не пройдет! — процедил Чопэ, и Ладо по его искаженному лицу понял: Чопэ будет беспощаден, если заметит, что его соперник испуган.

Ладо взял консервы и водку, наполнил стаканы и чокнулся с Чопэ.

— Будем здоровы!

Чопэ выпил без слов. Молча выпили и по второй. Как ни странно, после водки Ладо полностью овладел собой.

Чопэ, между тем, все сильнее овладевала злоба.

— Будем здоровы! — сказал Ладо.

Чопэ выпил, отер губы тыльной стороной ладони.

— Оставь Кэту в покое! — процедил он сквозь зубы.

— Ты оставь ее, — спокойно сказал Ладо.

Чопэ сжал стакан большими толстыми пальцами и отставил его в сторону:

— Кэту моя невеста!

— Она тебя не любит!

— Знаю, — сквозь зубы бросил Чопэ, — но она моя невеста.

— Невеста должна любить, — сказал Ладо с уверенностью, — для чего тебе человек, который тебя не любит.

— Это не твое дело. — У Чопэ заходили желваки. — Ты парень хороший, уйди от греха, оставь меня в покое, предупреждаю.

— Мне жаль Кэту!

— Меня тоже жаль.

— Ты ее любишь?

— А хоть бы и не любил, тебе-то какое дело до этого?

— Я тебе не дам ее погубить.

— Вся деревня надо мной смеется, отвергнутым называет, — с обидой в голосе сказал Чопэ.

— Это лучше, чем...

— Слушай, катись туда, откуда явился, не то... — Чопэ снова взял стакан и завертел его в руках. Ладо равнодушно постукивал пальцами по столу. Буфетчик был весь вниманием!

— Если я уйду, то заберу с собой Кэту, — сказал Ладо.

Чопэ тяжело дышал. Ладо налил водку, пододвинул к нему стакан:

— Пей!

Чопэ размахнулся, Толстый граненый стакан ударился о стену, разлетелся вдребезги.

— Не больно ты меток, — усмехнулся Ладо.

— Чопэ, что с тобой происходит, дорогой?.. — крикнул буфетчик, найдя других слов, прибавил: — Стакан денег стоит...

Чопэ зло сверкнул глазами и наотмашь ударил Ладо в подбородок. У Ладо закружилась голова, но он устоял, инстинктивно стрыгнул назад, прижался спиной к прилавку. Чопэ, опустив голову, как бык, кинулся на него, Ладо успел ударить его ногой в живот, отбросил назад, сам бросился на него, сложив руки в ладонь, ударил в затылок.

Чопэ зашатался, у него подогнулись колени, он схватился за стул, попытался им замахнуться, Ладо ногой выбил стул. Буфетчик выскочил из-за прилавка, бросился между ними.

— Э, дорогой, слыханное ли дело драться учителю, — успокаивал он Ладо.

Ладо поднял стул, отстранил буфетчика и сел на свое место.

У него ломило в суставах, но, как ни странно, в его сердце не было злости.

— Выпьем еще? — спросил он, тяжело дыша.

— Пусть собака с тобой пьет, — прохрипел Чопэ.

— Ну, тогда я пошел.

Чопэ встrepенулся, схватил его за руку.

— Послушай, чего тебе от меня надо? — спросил он вполголоса.

— Ничего, — ответил Ладо.

— Если ничего, отстань! Мне твоего ничего не надо, а своего не отдам, хоть убей!

Ладо подошел к прилавку, расплатился с буфетчиком.

— А ты удалой парень, — хихикнул тот.

Чопэ, расставив ноги, стоял в дверях.

— Пропусти, — холодно бросил Ладо.

— Постой, договорим до конца.

— Разговор окончен.

— Отстань от Кэту, — в голосе Чопэ слышалась просьба озлобленного, униженного человека.

— Кэту вольна поступать, как сама захочет.

— Она моя невеста.

— До свиданья.

— Хорошо, — сказал Чопэ, — поживем, увидим.

Он бежал по ступенькам, покрытым грязным снегом, и размашисто зашагал по нехоженому насту.

Ладо жадно вдохнул морозный воздух, посмотрел на Ушбу. Впервые за последнее время вершина виднелась отчетливо сквозь голубоватую облачную дымку, снег на крутых склонах не держался даже зимой, и белые горы вокруг подчеркивали особую природу огромной синей горы. Ладо вмиг позабыл обо всем на свете. Ушба обладала удивительным свойством — изгонять из души все обыденное, преходящее; она избавляла от мелких мыслей...

Повалил снег. Ключья облаков слились воедино и медленно двинулись к вершине. Ладо поднял воротник пальто и прибавил шагу: дорога вела вдоль запорошенного снегом кустарника.

«Уеду, — подумал он, — уеду отсюда вместе с Кэту, остальное покажет будущее». Ладо чувствовал — это ему по силам.

За снежными хлопьями замелькал серый силуэт. Ладо нагнал Мацису.

— Ты что так поздно возвращаешься? — спросил он.

— У нас классное собрание было, — застенчиво ответила девушка.

— И что постановили? — ласково спросил Ладо.

— Ничего.

— Пойдем побыстрее, холодно.

Ладо заботливо обнял ее за худые плечи; он любил эту тонкую, застенчивую девушку с большими черными глазами, всегда испытывал к ней чувство нежности.

Умятую тропу быстро запорошило свежим снегом. Мациса поскальзывалась и невольно прижималась к плечу Ладо, и это увеличивало чувство растерянности, которое всегда овладевало ею при встрече с Ладо.

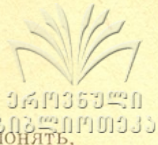
— Мациса, что если я завтра уеду в Тбилиси? — неожиданно для самого себя спросил Ладо.

Девушка остановилась, испуганно посмотрела на него.

— Почему?

— Так, я пошутил, — сказал Ладо, — пошли.

Уже поднимаясь по лестнице, Мациса спросила:



— А если вас не отпустят из школы?

Ладо рассмеялся.

— Да нет, я пошутил.

Девушка ничего не сказала больше, хотя по ее виду можно было понять, что слова Ладо об отъезде вовсе не кажутся ей шуткой.

На пороге она взяла маленький веник и принялась счищать снег с куртки Ладо....

Тэмраз в окружении четверых детей сидел у камина и рассказывал что-то веселое.

— Куда ты запропастился? — спросил он.

— Ходил по делу.

— И как?

— Отныне пусть каждый сам за собой смотрит, — улыбаясь, сказал Ладо.

Мациса смутно чувствовала — была какая-то связь между этими словами и тем, что Ладо сказал ей недавно, но не догадывалась, какая именно. «Кто же будет преподавать нам грузинский язык?» — подумала она, не сознавая подлинной причины своего огорчения, потом вынесла из соседней комнаты вареную картошку и сыр. Ладо немного поел и отодвинул тарелку. Девушка тоже ела неохотно.

— Хочешь водки? — спросил Тэмраз.

— Нет, — отказался Ладо, — у меня срочная работа.

— Это другое дело. Отметки всем выставил?

— Почти. Вот Мациса осталась, вызову завтра, семь шкур спущу.

«Значит, он остается», — обрадовалась девушка.

— Заранее не предупреждают, — улыбнулся Тэмраз.

— Новый год приближается, — заметил Ладо как бы между прочим.

— Да. Новый год у нас особенный, — сказал Тэмраз.

Дети во все глаза смотрели на взрослых, слушали их разговор, разинув рты.

Тэро осторожно открыла двери, вошла в комнату в вязаных чулках — она обычно оставляла обувь на балконе, — сняла головной платок, встряхнула его, снова повязала на голову по самые глаза, села подальше от камина. Зеленые, холодные глаза ее смотрели недвижно, она о чем-то раздумывала.

— Что нового, жена? — спросил Тэмраз.

— Я у Эшхвани была. Водку должны были гнать к Новому году. — Тэро в упор смотрела на Ладо.

— И что дальше?

— Им не до водки, — криво усмехнулась Тэро и снова уставилась на Ладо. — Чопэ ворвался, хотел убить Кэту, с трудом из рук вырвали.

Ладо вскочил на ноги.

— Что?!

— Хотел убить, — сухо повторила Тэро.

— Ты что, жена?

Тэро даже не взглянула на мужа.

— Кэту отказывается идти за Чопэ, любит другого, — проговорила она с холодной усмешкой на плоских губах, не сводя с Ладо пристального взгляда.

У Мацисы сердце выпрыгивало из груди.

— Развратилась молодежь, — снова сказала Тэро.

— Помолчи, — прикрикнул на жену Тэмраз, — много ты понимаешь.

— Один ты у нас умник, — Тэро развела руками, — начитался книг.

Тэмраз грустно улыбнулся.

— Кого она любит, тоже сказали, — Тэро по-прежнему смотрела на Ладо, — вскружил девчонке голову, самому-то что, соберет пожитки—и поминай как звали, а Кэту, что с ней станется?

— Вон отсюда! — прикрикнул Тэмраз на детей. — И ты тоже, Мациса.

Дети молча вышли в соседнюю комнату.

Ладо сидел ни жив ни мертв.

— Рушится Сванетия, Тэмраз, рушится, — желтое лицо Тэро покрылось сизыми пятнами. Она была взволнована.

— Не обращай на нее внимания, Ладо, что-нибудь придумаем, — попытался подбодрить приятеля Тэмраз.

— Все уже решено, — спокойно ответил Ладо, поднялся и вышел в свою комнату. В комнате было холодно. Мокрые снежинки скользили по стеклам окон.

На столе Ладо заметил конверт, поспешно вскрыл его. Отец в сдержанных тонах жаловался на старость и одиночество и просил, если тому представится возможность, приехать на каникулы домой.

Директор вызвал Ладо к себе в кабинет перед самым звонком.

— Садитесь, — сказал он.

— У меня урок.

— Садитесь, — холодно повторил директор.

Ладо сел. Директор был похож на Чопэ.

— Мне надо поговорить с тобой, — сказал он, переходя на «ты».

— Слушаю.

— Скажу тебе откровенно, — после некоторого раздумья заговорил директор, — твой приезд меня не обрадовал, — и прибавил: — Ты мне не понравился с первого же дня.

— В самом деле? — усмехнулся Ладо.

— Тогда я промолчал. Может быть, подумал я, ты неплохой учитель.

— И не обманулись в ожиданиях?

— Если прогулки по лесу и сбор каких-то цветочков есть преподавание, то не обманулся.

Ладо с трудом подавил внезапно охватившее его волнение.

— Иногда и в лесу можно кое-чему научиться.

— Чуть.

— Смотря для кого, — возразил Ладо. Он прекрасно понимал — все это лишь преддверие к разговору.

Оба, и Ладо и директор, были взволнованы, но старались не выказывать этого.

— Не пойму, что ты за человек? — директор взял карандаш и начал выводить на бумаге кружочки.

— Я сюда затем и приехал, чтобы разобраться, кто я, — улыбнулся Ладо.

— А мы тут при чем?

— Бог его знает.

Директор поднял брови, на его продолговатом лице появилось толи удивление, то ли злобное выражение.

— Смотри, не ставь Ваню Вездени на одну доску с некоторыми.

— Не ставлю, — ответил Ладо. «Никак не может выложить главного».

И тут директор подался вперед:

— Чего ты пристал к моему брату?

— Это нелегко объяснить, — задумчиво ответил Ладо.

— Не ведаешь, что творишь, — зло процедил директор, — вздумал жениться на замужней женщине.

«Главное держать себя в руках, — подумал Ладо, — нельзя волноваться».

— Давай условимся...

— Нам не о чем договариваться, — сказал директор. — Ты оскорбил семью, надругался над нашими обычаями, такого не прощают. Ну погоди, Тэмраз Джачвлиани, мы с тобой рассчитаемся!

— При чем тут Тэмраз? — удивился Ладо.

— Это тебя не касается. Слушай, мы — люди гостеприимные, но мой тебе совет — уезжай! — Ладо уловил в голосе директора просьбу. — Уезжай, я сам все улажу в роно.

— Обязательно, и не далее как завтра.

Директор вздохнул с облегчением. Ладо вышел из кабинета и направился в класс. Он твердо решил уехать, но как сообщить об этом Кэту!..

Ученики ждали его с нетерпением. Они по туманным пересудам поняли: у учителя неприятности с директором, и, естественно, были на стороне первого, поскольку не представляли, что их учитель грузинского языка мог быть неправ или несправедлив. Они были в том возрасте, когда слова или поступки любимого учителя принимаются безоговорочно и с полным доверием, причем ни один не задается вопросом, почему и за какие качества именно этот учитель, а не другой, любим ими. Ладо часто задумывался: за что его любили ученики. Он, правда, мог весь урок читать им наизусть «Вахтриони»*, играть с ними в футбол или слоняться по лесу и вообще интересоваться теми сторонами жизни детей, которые редко интересуют учителей, но все это просто было в натуре Ладо и не могло идти в счет.

Отсутствие педагога не сказалось в классе: все молча сидели на своих местах. Его приходу они явно очень обрадовались и старались вычитать по лицу его настроение. Ладо это понял и сейчас, когда твердо решил уехать, вдруг почувствовал всю тяжесть расставания с детьми.

* Поэма Важа Пшавела.



ДАГЕСТАНСКИЕ ВЕЧЕРА

● Главы из повести „Большая семья“

СЕГОДНЯ вечером в доме Исы гости. Скоро Иса уйдет с отарами в горы — на летние пастбища, и к нему пришли его племянник Шахтаман, свояченица Байзет и завуч сельской школы Валентина Георгиевна. Иса хочет обсудить с ними важный вопрос: он задумал отправить младших сыновей в город, где живут его старшие дочери и сын Нахиб, чтобы они завершили там образование.

На кухне хлопочат оба брата — Булат и малыш Джавадхан, готовят угощение для гостей.

— Как вы думаете, Валентина Георгиевна, стоящее это дело — перевести мальчиков учиться в город? — почтительно спрашивает Иса.

— По-моему, это просто замечательно. Жить им там есть где, сестры присмотрят за младшими братьями, школа от их дома близко. А главное, там они будут заняты только учебой, — говорит Валентина Георгиевна. — Ведь Булату приходится столько работать по дому, я удивляюсь, когда он ухитряется уроки учить, да еще все на отлично.

Иса слушает с нескрываемой гордостью.

— Как только закончится учебный год, я переведу его в город, — заключает он и, немного помолчав, обращается к Шахтаману: — На тебя и Байзет оставляю моих сыновей. Присматривайте за ними, как начнутся каникулы, ты, Шахтаман, отвези их в город.

— Не беспокойтесь, дядя, — заговорил Шахтаман. — Я все сделаю, как вы скажете.

Пастухи ушли в горы с отарами. Ушел и Иса. За хозяина остались Булат и Джавадхан. Забот у них много, хозяйство — не шуточное дело. Вот сегодня, например, с утра раннего Булат вместе с соседом, стариком Дибиром, и с теткой своей Байзет дежурит возле коровы — пришло время ей отелиться, да, видно, не все с ней ладно. Байзет предложила позвать ветеринарного врача, но Булат твердо сказал, что справится сам. Байзет через некоторое время ушла. Потом и Дибир ушел по какому-то неотложному делу. «Через часа полтора вернусь, смотри, Булат, лучше вовремя позови врача», — сказал он, уходя.

А корове было совсем худо. Бедняжка смотрела на Булата глазами, полными страдания, как бы молила о помощи. Джавадхан, который прибежал сейчас сюда, тронул за рукав старшего брата:

— Побегу за врачом, да?

— Никуда не ходи, — тихо, но решительно проговорил Булат.

Потом засучил рукава и подошел к корове. Оказалось, теленок шел не-

правильно. Корова, понимая, что ей помогают, терпеливо выносила вмешательство человека. Она собрала все свои силы в стремлении дать жизнь новому существу. Роды подошли на схватку жизни и смерти. Жизнь оказалась для нее — и вот Булат принял новорожденного теленка. Бережно уложив сено, он вернулся к роженице. Наконец, убедившись, что корова уже вне опасности, Булат поднес к ней теленка. Увидев теленка, корова сразу приободрилась и занялась им. Булат присел перед ней на корточки.

— Ну что, Чернушка, нравится тебе твой теленок? — ласково спросил он ее.

Корова повела на него своими огромными глазами и несколько раз лизнула ему руку, словно благодарила.

В это время вошел Дибир. Он, видимо, быстро шел и запыхался.

— Как, ты сам принял?.. — спросил он с удивлением.

Булат, улыбаясь, утвердительно кивнул головой.

Дибир погладил бороду, подошел поближе, осмотрел теленка, корову.

— Молодчина ты, Булат!.. Ведь роды-то у нее трудные были, я даже думал... Ну молодец же ты, достойный сын Исы!

Новорожденную телочку назвали Горянкой.

Булат, приласкав корову и проверив, в достатке ли у нее воды и сена, пошел домой.

На балконе Джавадхан в окружении соседских ребятишек возился со своим башмаком, пытаясь прибить оторвавшуюся подошву. Булат взял у брата башмак, отыскал гвоздочки, повертел башмак, примериваясь, и, надев его на подходящий камень, прибил подошву.

— Надевай, — сказал он брату, протягивая башмак. — Надо аккуратнее быть, Джавад, ведь башмаки-то твои совсем новые...

Джавадхан, глядя на старшего брата виноватыми глазами, проговорил:

— Спасибо, Булат. Я буду аккуратнее...

Булат улыбнулся и вошел в комнату.

Он растянулся на тахте и только сейчас почувствовал, как устал. На противоположной стене висели работы его брата — Нахиба. Вот портреты деда и бабушки, вот отец... И красавица-мать. Мама... Восемь детей оставила и ушла... Булат почувствовал хорошо знакомую щемящую боль где-то слева в груди и отвел взгляд в сторону.

С боковой стенки глядели на него Шамиль и Хаджи-Мурат. Сильный, умный взор Шамиля, казалось, и ему придавал силы. Эти два портрета — тоже работы Нахиба. «Каким шумным, радостным был наш дом так недавно, — подумал Булат. — Братья, сестры, родители, родственники, друзья... Столько народу!.. А теперь теленка принять некому...» Он чувствовал страшную усталость и глубокую печаль. Закрыв глаза. И незаметно для себя уснул...

Ему было всего двенадцать лет!..

Но вот наступил день отъезда. Ранним утром, в последний раз проверив, не забыли ли чего уложить в старый деревянный чемодан, Булат кликнул брата, и они направились на кладбище — на могилу матери. Дорога проходила мимо горного ключа. Братья остановились, попили студеной ключевой водицы. Зеленая трава пестрела разноцветными цветами, которые так любила мама. Братья нарвали целые охапки душистых цветов и продолжили путь. Вот и кладбище. Покосившаяся железная калитка заскрипела, пропуская детей, и осталась открытой. Булат и Джавадхан не спеша идут между старинных памятников, на которых сохранились надписи с потрескавшейся, местами облупившейся синей эмалью. Тихо. Только под ногами то сучок хрустнет, то лист сухой да ящерица промурчит в траве. Детям не страшно идти: сознание того, что здесь где-то — мама, не только не подпускает к ним страха, но затепляет какую-то смутную радость в их сердцах — будто она и вправду здесь ждет их, как ждала обычно на балконе, когда они, набегавшись и наигравшись, возвращались домой к ужину.

Братья подошли к могиле матери. С надгробья вспорхнула какая-то птица и стремительно взметнулась в яркую голубизну утреннего неба. Булат проводил ее взглядом. «Вот если бы иметь крылья!» — подумал он вдруг.

Булат с Джавадханом повыврали колючую чертополоха и рассыпали по земле принесенную траву и цветы. Потом Булат сбежал с кувшином к источнику, принес свежей воды, поставил, как полагается, в изголовье. Братья постояли молча.

— Что ж, пойдем, — сказал Булат. — Ты иди не спеша, я догоню.

Джавадхан кивнул головой и медленно, степенно, как взрослый, зашагал по тропинке.

Булату хотелось в одиночестве проситься с матерью.

—Мамочка,—проговорил он вслух. — Мама, вот мы уезжаем в город, к сестрам и братьям. Мы будем там учиться, и я даю тебе слово, что станем такими, какими ты хотела нас видеть. Ты не скучай, мамочка, мы будем приезжать и навещать тебя... Не беспокойся за нас, мама, все будет хорошо.

Слезы навернулись ему на глаза, он отвернулся и пошел прочь. Вскоре он нагнал Джавадхана. Наклонившись, мальчик рассматривал какого-то яркого жучка, на которого чуть было не наступил.

Когда они пришли домой, там было полно народу. Провожать детей пришли родственники, соседи, товарищи.

— Где бы вы ни были, помните мои слова, — сказал детям в напутствие Дибир.— Умейте ценить верного друга и крепить настоящую дружбу. Никогда не поворачивайтесь спиной к врагу — встречайте его всегда лицом. И — не садитесь на чужого коня, седлайте собственного!

Последние объятия, поцелуи, слова прощания... Наконец Булат и Джавадхан сели в машину. Шахтаман нажал на газ, и машина тронулась.

Аул вскоре остался позади, позади осталось и детство с его играми, шалостями и первым забываемым горем.

* * *

На заседании бюро заводской комсомольской организации разбиралось дело комсомольца Омара Омарова, которому грозило увольнение с завода. Члены бюро никак не могли прийти к согласию, дело не шуточное — решается судьба человека! Наконец встал секретарь бюро ЛКСМ — Булат.

Кто бы узнал в этом высоком статном юноше с открытым и смелым лицом худенького мальчонку, который бегал по каменистым улочкам Обоха!..

— Товарищи, — сказал Булат. — Я выслушал мнение каждого из вас и знаю, что администрация склонна уволить Омара. Действительно, прогулы, пьянки и драки, которые устраивает Омар, — все это порочит имя советского рабочего и тем более — комсомольца. Но подумайте, что с ним будет, если мы выгоним его из нашей семьи! Мы просто погубим его. Давайте попробуем еще раз ему помочь: пусть члены бюро Савченко и Михайлов возьмут над ним шефство. Это ребята надежные, хорошие специалисты, и главное — они умеют найти подход к любому.

Булата поддержали, и бюро постановило: объявить комсомольцу Омару Омарову строгий выговор с последним предупреждением, членам бюро Савченко и Михайлову поручить шефство над товарищем Омаровым.

Который год уже Булат живет в Каспийске! Многому он научился за это время, многое испытал, увидел, узнал. Здесь, на заводе, он вступил в комсомол, здесь приобрел специальность, отсюда ушел в армию, отслужив армейские годы, вернулся на завод. Потом Булата, уже мастера сборочного цеха, избрали секретарем комсомольской организации завода, с его словом считались, его совета искали, дружбой с ним гордились. Завод дал ему квартиру в новом красивом доме на Приморском бульваре.

Вечерами в его окна доподна горит свет — Булат засиживается над книгами. А то, бывает, соберутся у него друзья послушать музыку, потанцевать.

Вот и сегодня у Булата гости. Сегодня день особый — 7 ноября, и гости особые: к Булату приехали Джавадхан с женой Галиной и ребенком. Джавадхан уже почти пять лет как не был на родине — он живет в Сибири, там и женился. Повидаться с ним пришли отец, гостивший в Каспийске, сестра Аминат с мужем и детьми и брат Нахиб.

Братья, давно не видавшиеся друг с другом, наговориться не могут, а Аминат не налюбуется на младшего братишку, который стал богатырь хоть куда, косая сажень в плечах. Иса расспрашивает его о том о сем, а глаза его так и сияют — вот ведь какие сыновья у него — смотреть любо! За праздничным столом не смолкала оживленная беседа, дети, пользуясь тем, что взрослые заняты и на них почти не обращают внимания, веселились вовсю.

Наконец пришло время расходиться по домам.

Утром первой поднялась Галина и стала хлопотать по хозяйству. Она мыла посуду в кухне, когда вдруг услышала стук в дверь. Это оказался Омар Омаров, живущий в соседней квартире. При виде незнакомой женщины он даже привистнул. Галина, растерявшись, молча смотрела на него. Омар, не здороваясь и не дожидаясь приглашения, вошел в прихожую. «Мне нужен магнитофон, красotka, где он?» — развязным тоном обратился Омар к Галине.

Галина, оправившись от смущения, сказал резко:

— Я здесь гостья, а Булат еще спит, зайдите попозже.

— Зачем мне Булат, я сам возьму, — так же развязно ответил Омар и, заглянув в комнату, воскликнул: — А вот и магнитофон!

— Нет, я не могу распоряжаться чужими вещами, подождите, я разбужу Булата, — твердо сказала Галина и загородила ему дорогу.

В ответ она услышала брань. Омар вышел и хлопнул дверью так, что в комнате задребезжало окно.

Галина чуть не в слезах вошла в комнату и встретилась с настороженными взглядами мужа и деверя. Оба проснулись.

— Кто приходил? — почти в один голос спросили они.

— Ваш сосед... — проговорила она изменившимся голосом. — Он хотел магнитофон, но я же не могла без вас... А он меня обругал... — и она расплакалась.

Джавадхан, взбешенный, схватился за одежду.

— Я ему покажу! — вскричал он. — Будет знать, почему фунт лиха!..

Булат с трудом удержал его, сказав, что сам рассчитается с обидчиком.

Он немедленно отправился к Омару. Постучал. Дверь отворила. Омар с приятелями сидел за столом. На столе стояли бутылки с водкой, рыба.

— Привет, ребята! — поздоровался Булат.

Омар повернулся, не вставая, и кивнул головой.

— Это ты приходил за магнитофоном? — спросил его Булат.

— Я. Ты что, принес его?

— Нет, я не для того пришел. Ты ворвался в мой дом и оскорбил человека. Я не хочу ругаться с тобой в праздничный день, но ты оскорбил мою гостью, жену моего брата, и должен извиниться перед ней, Омар.

Омар продолжал сидеть и, даже не глянув на Булата и будто не слыша его, разлил по стаканам водку.

— Ты слышишь, Омар? Пойди и извинись перед женщиной, которую оскорбил и обидел ни за что ни про что, — повторил Булат, еле сдерживая свой гнев. Событийники Омара молча наблюдали, с интересом ожидая, что будет, и соображая, а в чем, собственно, дело.

Омар вдруг резко повернулся к Булату и с вызывающим видом крикнул:

— Хватит! Ты мне на заводе надоел с нравоучениями, а еще дома... — но, видимо, спохватившись, что слишком далеко зашел, он смолк и, немного погодя, добавил уже иным тоном: — Ладно, извиняюсь. Пусть выйдет на площадь, я извинюсь.

Булат молча направился к дверям, за ним последовал Омар. Уже собираясь войти в свою квартиру, Булат обернулся к Омару и предложил:

— Может, лучше тебе самому войти?

Омар с пренебрежением оглядел Булата и, оттолкнув его в сторону, заколотил в дверь кулаком.

Тут уж Булат не выдержал, терпение его иссякло. Он размахнулся и так ударил Омара, что тот вылетел в противоположную стенку. Он быстро очнулся, и, когда повернулся к Булату, в руке его блеснул нож. С занесенным ножом бросился он на Булата. Драка могла кончиться трагически, но Булат сильным ударом ноги свалил Омара на пол и, изловчившись, вырвал у него из рук нож.

В этот момент распахнулись словно по уговору обе двери. Одновременно выбежали Джавадхан и приятели Омара, которые готовы были броситься на помощь своему дружку. Громовой оклик Джавадхана остановил их. Они невольно понялись при виде этого богатыря. Булат тем временем поднял Омара на ноги. Тот, казалось, немного протрезвел и стоял с виноватым видом, исподлобья глядя то на Булата, то на Джавадхана.

— Ладно... чего уж там... твоя правда... — проговорил наконец он глухо. — Я виноват. Пусти, пойду... повинюсь...

Слух о происшествии быстро распространился по заводу и дошел до директора. Директор вызвал к себе Булата.

— Видишь, Булат, я был прав, когда настаивал на увольнении, — с укоризной сказал он. — Правда, Омар как будто немного подтянулся, почти нет за ним прогулов, вроде и пить перестал, но вот видишь опять напился и учинил такое безобразие! Не место ему здесь, я так считаю.

— Нет, Сергей Иванович, я и сейчас не могу согласиться с вами, — возразил Булат. — Если так, то уволить пришлось бы очень уж многих, потому что у каждого есть какой-то недостаток. Омар, конечно, трудный человек, но ведь мы уже кое-что добились. Он во многом изменился к лучшему. Может, и этой драки не произошло бы, если бы я сдержался, а может, и драка сыграла какую-то положительную роль, помогла осознать ему некоторые вещи.

— Наши мнения расходятся, — сердито сказал Сергей Иванович. — Вы продолжаете его защищать и выгораживать, но, в конце концов, у нас здесь производство, а не детский сад или исправительная колония. Однако я не мо-

гу не считается с бюро и с вами, поэтому вынесу этот вопрос на общезаводское собрание.

...Клуб был переполнен — собрался весь завод. В президиуме представители из горкома комсомола, директор завода Сергей Иванович, завком, профком, Булат, две девушки и три парня — передовики производства.

Слово предоставляется Сергею Ивановичу.

— Дорогие товарищи! — зазвучал его чуть хрипловатый громкий голос. — Все вы знаете, что Булат пришел на завод совсем ребенком и что сегодня со словом Булата считаются все на заводе, потому что он честный, принципиальный и гуманный человек и прекрасный специалист. Однако при всем моем уважении к Булату на этот раз я не могу согласиться с ним в отношении тоже всем вам известного комсомольца Омара Омарова. Его вопрос не раз выносился на бюро и на общее собрание. Вы знаете, что он был злым прогульщиком, нарушителем трудовой дисциплины. Мы многое ему прощали и всякий раз протягивали руку помощи, надеясь, что он наконец одумается и станет на правильный путь. Но увы, хотя отдельные сдвиги в поведении и наблюдаются, в основном он ведет себя так, что дальнейшее его пребывание в нашем коллективе я считаю невозможным..

И Сергей Иванович вкратце рассказал недавний инцидент.

Следом за ним выступил Булат.

— Я согласен с Сергеем Ивановичем в оценке поведения Омара Омарова, — сказал он, — но ведь задача трудового коллектива не только отлично работать, но и воспитывать тех членов коллектива, которые не сразу умеют найти в жизни верную дорогу и не всегда находят в себе силы изживать свои недостатки. Все мы делаем одно общее дело, и каждый из нас отвечает не только за себя, но и за товарища. Я предлагаю дать Омару еще время, прощив и на этот раз его ошибку, — может, она будет последней.

Выступили представители горкома, профкома, они поддержали Булата. Потом дали слово и самому Омару. Он был сильно взволнован, с трудом говорил.

— Я обещаю стать достойным вашего доверия, — сказал он.

Прошло время, и оказалось, что Булат был прав. Омар оправдал надежды коллектива, никто уже не мог на него пожаловаться, упрекнуть его в недостойном поведении или в плохой работе.

Была у Булата заветная мечта: он хотел стать строителем, строить мосты, тоннели. Потому и просиживал он все вечера за книгами, выписывал специальные журналы, читал и прорабатывал все, что находил по этим вопросам, и в конце концов решил сдавать приемные экзамены в московский институт. Завод дал ему рекомендацию, характеристику, и вот наступил день отъезда. Среди провожающих был и Омар. Когда Булат сел в поезд, Омар, обнимая его, тихо сказал:

— Счастливо тебе, Булат. И знай, что я никогда не забуду того, что ты для меня сделал. Спасибо за все.

* * *

Жаркий июльский день подходил к концу, солнце клонилось к закату. На Красный мост въезжала «Волга», направлявшаяся в Гуниб. Встречный грузовик не сумел вовремя сманеврировать и на полном ходу врезался в скалу, кузовом задев «Волгу», которая от толчка слетела с дороги и покатила в пропасть.

Вскоре образовалась пробка — грузовик с изуродованным копотом преградил узкую дорогу. Поднялась суматоха — авария! Подоспела автоинспекция. Шофер грузовика оказался мертв: Под мостом на дне пропасти, у самого берега реки валялась разбитая «Волга». Водитель, молодой парень, неподвижно лежал на одном из уступов — каким-то чудом вывалившись из кабины. Он зацепился за кусты и упал на скалистый выступ отвесного склона.

С помощью веревочной лестницы спустился на уступ шофер одной из проезжих автомашин и, рискуя собой, с большим трудом поднял парня на мост. Он был жив, но без чувств, сильно разбитый.

— Срочно в больницу! Документы, вероятно, выпали, когда он падал, — карманы его пусты, — сказал автоинспектор.

— Если разрешите, я отвезу его на своей машине, — сказал Мухтар — тот самый шофер, который вытащил парня из пропасти.

— Конечно! Только езжай поаккуратней, чтобы не сильно трясло, он истекает кровью.

Абдуллаев, главный хирург гунибской больницы, вот уже три часа оперирует пострадавшего. У него серьезные травмы: перелом левого предплечья и левой голени, ранение черепа. Он потерял много крови, ему срочно было сделано переливание крови. Наконеч швы на затылке наложены, нога и рука в гипсе.

Абдуллаев вышел из операционной.

Мухтар со своим другом Сайфуллой ожидали его в коридоре.

— Операция прошла удачно. Теперь все зависит от выносливости его организма, — сказал им Абдуллаев и направился в свой кабинет.

Мухтар и Сайфулла остались ждать дочь Мухтара Мику — она операционная сестра и расскажет все подробно.

Через некоторое время в коридоре появилась Мика — высокая стройная девушка с большими синими глазами, чернобровая, с длинными черными косами, уложенными на затылке.

— Ну, отец, можешь спокойно ехать по своим делам. Парню сейчас, конечно, неплохо, но, думаю, все будет в порядке. Абдулла Абдуллаевич боролся за его жизнь, как за жизнь собственного сына.

— Золотые руки и сердце у вашего Абдуллаева! Теперь на душе спокойно, а то ведь как никак я вытаскил его из пропастей, я привез его сюда, он для меня уже близкий человек! Ладно, я поеду, а ты позаботься о нем, дочка.

— Не волнуйся, отец. Сегодня как раз я дежурю, я его не оставлю.

Мика обошла все палаты, убедилась, что все спокойно спят, и вернулась к новому больному. У него был жар, он бредил. Только под утро он пришел в себя. Приоткрыл веки. Из-под густых черных ресниц сверкнули большие карие глаза. Он обвел глазами всю палату и остановился на Мике. Заметив, что у больного пересохла губы, она встала, влажным ватным тампоном отерла их и дала несколько ложек воды.

— Где я? — по-аварски спросил он.

— В гунибской больнице. Не разговаривайте, вам нужен покой. — Мика бережно укрыла одеялом его правую руку.

— Что со мной?

— Сейчас уже все в порядке. Вас оперировали, сейчас вы вне опасности.

— Ходить смогу? — он смотрел на нее в упор.

— У вас ничего страшного: перелом. Кости срастутся, и все будет по-старому. Только сейчас больше ни слова. Усните, вам необходим сон.

Прошло несколько дней. С каждым днем больному становилось лучше. Мика ухаживала за ним, сама не понимая, почему этот пациент так волнует ее. Может быть, думала она, потому что никто не знает, кто он, и возле него нет никого из близких. Может быть, может быть...

Наконец, главврач разрешил сотруднику автоинспекции и следователю побеседовать с пострадавшим.

— Как самочувствие, орел? Ну и прыжок вы совершили! — шутивным тоном заговорил автоинспектор. — Вы помните, как все это произошло?

— Прыжок?.. Я совершил прыжок?..

— Ладно, не волнуйтесь, уже все в порядке, — вмешался следователь. — Скажите, как ваша фамилия, имя, отчество.

— Гаджиев, Булат Гаджиевич.

— Куда вы ехали?

— В Обоих, в родной аул.

— Кто у вас в Обоихе?

— Родственники. Девятнадцать лет я не был в Обоихе... Не терпелось скорее попасть на родину...

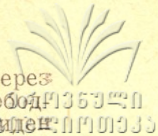
— Скажите, как вы думаете, кто был виноват в катастрофе — вы или водитель грузовика?

— Вероятно, мы оба... а он жив?

— Нет, погиб бедняга... Но как установила экспертиза, в катастрофе вы не виноваты. Еще один вопрос: откуда вы прибыли и где вы сейчас работаете?

— Я приехал с Урала. Работаю там инженером-строителем, я мостовик. Этой весной приобрел машину и решил первым делом съездить на родину. Вот, приехал... А отец, верно, думает, я уже в ауле...

— Не беспокойтесь, по возвращении в Махачкалу я тотчас навещу вашего отца. Ведь я знаю его с детства. Гаджи Гаджиев был активным борцом за установление Советской власти в Дагестане, впоследствии он один из первых организовал колхоз в Гунибском районе. И брата вашего, Абакара, я знаю. Словом, теперь дело за вами — выздоравливайте. Желаем вам всего лучшего!



Вначале, когда Булат поднялся, он ходил с помощью костылей, а через некоторое время ему разрешили ходить без них. Был конец июля. Все свободные от процедур часы Булат проводил в больничном саду, отсюда был виден его родной Обох, и Булат, постоянно любовался им. Мика теперь оставалась с ним почти каждый день после работы, и они с увлечением беседовали на всевозможные темы.

Булат чувствовал, что Мика стала очень дорогим ему существом. Он сам себе удивлялся — после разрыва с женой, да и еще раньше, его сердце было холодным и, пожалуй, очерствевшим. Все его помыслы и устремления были направлены только лишь к работе, женщина, как ему казалось, навсегда ушла из его жизни. И вдруг — Мика, которая пробудила в нем необыкновенно теплое и светлое чувство, он сам не знал — что это за чувство, но оно вселяло в него веру, энергию, дарило огромную радость. Он настолько привязался к Мике, что ему страшно было представить свое существование без нее. Однако ни он, ни тем более она ни словом не обмолвились о том, что они чувствовали и переживали.

Булат уже свободно ходил, лишь слегка опирался на палку. В один из дней после процедуры Булат направился в сад. Он вышел на веранду второго этажа и стал спускаться по лестнице. А в саду, под сенью огромного орехового дерева, собрались практиканты и несколько врачей во главе с Абдуллаевым. Здесь, спасаясь от летнего зноя, Абдуллаев решил провести очередное занятие. Абдулла Абдуллаевич вдруг оглянулся и увидел своего пациента. Искра гордой радости сверкнула в глазах врача, вот ведь, идет парень, высокий, широкоплечий, красивый, идет свободно, не хромая, а поначалу никто, в том числе и сам хирург, не надеялся на полное выздоровление Булата.

— Здравствуйте, — поздоровался Булат.

Девушки заулыбались, засияли, приветствуя его.

— Здравствуйте, здравствуй, друг мой, — отвечал Абдулла Абдуллаевич. — Девушки наши так тебе обрадовались, что я боюсь, не влюблены ли они все в тебя, а?

— Все не все, но кое-кто действительно не ровно дышит, — с лукавой усмешкой проговорил заведующий физико-терапевтическим кабинетом, который Булат ежедневно посещал.

Девушки засмутились, стали возражать.

— О, ко всем вашим девушкам у меня отношение особое, Абдулла Абдуллаевич! Они мне как родные сестры, я никогда в жизни не забуду их заботу и внимание, их тепло, которое так важно для больного!

Абдуллаев глянул на часы.

— Не буду вам мешать, — перехватив его взгляд, проговорил Булат. — Пойду погуляю, полюбуюсь на родной аул — он хорошо виден с обрыва.

Действительно, с обрыва, которым заканчивался с одной стороны сад, открывалась величественная панорама горного края. Ущелье реки Кара-Койсу во всем блеске красоты расстиралось перед Булатом, а в скалах гнезвился его родной Обох. Сердце Булата уязненно билось. Когда он впервые вышел к этому обрыву, он, и не подозревая, что за пейзаж откроется отсюда, вдруг увидел Обох — Обох, где он не был столько лет, этот маленький, до боли милый сердцу клочок земли, где жили его предки, где он родился, где прошло его детство, где покоится прах его матери... Обох, чьи камни и неприветливые жилища ему дороже всех сокровищ мира! Он чуть не упал, чуть не потерял сознание от захлестнувших его чувств. И сейчас он смотрел на свой аул, а сердце рвалось — скорей туда, скорей!

— О чем ты так задумался? Не терпится домой, да? — услышал он.

— Это ты? — обрадованно воскликнул Булат, оборачиваясь к Мике, которая неслышно подошла к нему. — Да, не терпится... — Он с нежностью дотронулся до ее руки и заглянул ей в глаза. Было в его взгляде что-то такое, что заставило Микю опустить взор и смущенно потупить голову. Булат заметил ее смущение и шуливо проговорил: — Я ведь чуть не забыл, что на твоём попечении ребенок, который только начал делать первые шаги, хотя этому ребенку уже 30 с лишним лет!

— Разве плохо быть ребенком? Столько ласки, внимания, — в тон ему ответила Мика.

— Да, не могу пожаловаться, что меня здесь обошли лаской. И знаешь, я тебе честно скажу, не будь тебя, такой ласковой, заботливой, я бы не выздоровел!

— Разве только я, — возразила Мика, — за тобой ухаживали все так же, как и я... И сестры твои приезжали, и отец...

— Не надо, Мика... Ты уже должна немного меня знать и верить

моим словам. Ты сотворила чудо, величайшее чудо, которое может сотворить только женщина.

Булат глубоко вздохнул и после недолгой паузы, не глядя на Микку, до-
бавил:

— Чего не ожидал, это встречи с такой девушкой, как ты. Ты — самая невероятная и самая счастливая неожиданность в моей жизни, Мика...

Наутро он проснулся рано — за окном чуть брезжил рассвет. Накинув теплый халат, он вышел в сад. Он пришел опять к обрыву, откуда был виден Обох и где вчера объяснился с Микой. При виде аула у Булата защемило сердце. Он по-прежнему рвался туда, но какая-то грусть вселилась в него. Долго сидел он в задумчивости, из которой вывела его санитарка. Оказалось, Абдуллаев просил его к себе.

Абдуллаев сидел за столом, перед ним лежала история болезни Булата.

— Ну, молодой человек, вылечили мы вас, отремонтировали лучше нелуда! — обратился к нему Абдуллаев. — Теперь делать вам здесь больше нечего, дружок, расставаться с вами жаль, но пора! И желаю больше к нам не попадать!

Булат обрадовался.

— Значит, я совсем здоров, доктор? Я могу ехать домой?

— И домой, и куда угодно! Я распорядился, чтобы завтра утром вам подали мою машину. Сауд свезет вас, а заодно и Микку — она собралась в свой аул, в двух километрах от Обоха. Выедете рано утром.

Булат поблагодарил, расцеловал на радостях Абдуллаева и как на крыльях вылетел из его кабинета. Какое счастье, Мика едет вместе с ним!

Дорога, обвивая скалы, змеей ползла вверх, то повисала над пропастью, то будто упиралась в горы, то вдруг вырывалась на плато. Солнце золотило все вокруг. Пирамидальные тополя нежилась в яркой синеве утреннего неба.

Булат и Мика ехали молча, но глаза их говорили больше всяких слов.

Машина пошла по дороге, усыпанной белым щебнем. Это была дорога на Верхний Гуниб. Взору открылась картина неповторимой красоты. Вокруг ярким ковром простирались альпийские луга. Вдоль дороги бежала река в обрамлении деревьев и цветущих кустов, которые стояли как диковинные гигантские букеты. В отдалении виднелась знаменитая беседка Шамиля. К ней они и приближались. Сауд остановил машину.

— Отдохнем немного, а? — спросил, оглянувшись на своих пассажиров, Сауд и вдруг как-то оробел — столько счастья увидел он в их лицах.

— Я пойду мыть машину, — сказал он, — отъеду чуточку вниз по течению. А вам вот это пригодится, — и он вытащил из багажника бурку. — Земля холодная, недолго и простудиться.

Мика побегала к реке, Булат поспешил за ней. Вода в реке была до того прозрачная, что на дне был виден каждый камешек, каждая песчанка. Мике захотелось ступить в эти прозрачные струи. Она встала на большой осклизлый камень и, зачерпнув горсть, облила ноги водой. Линии ее фигуры были так красивы и движения так пластичны, что Булат не мог оторвать от нее глаз. Через плечо спадала черная тяжелая коса. Мика приподняла подол платья, чтобы не замочить его в воде. Булат сделал несколько шагов по направлению к Мике. Она вдруг оглянулась и, оступившись, упала в воду. Один миг — и Булат оказался рядом с ней. Он подхватил ее на руки и, выпрямившись, стоял по колено в воде. Время остановилось, все исчезло — были только глаза Мики, широко раскрытые, не мигающие, и только сердце стучало в груди и кровь в висках.

Он понес ее на руках туда, где на траве была разостлана бурка. «Только наклонить голову — и я коснусь этих губ, этих глаз!..» — подумал он, стоя на коленях возле нее.

Мика вдруг вскочила и побежала. Булат бросился за ней. Она неожиданно остановилась за деревом и выглядывала оттуда с испуганным, но счастливым лицом. Булат, сам не зная как — то ли добежал, то ли добрал до этого то дерева. Схватил ее за руки, притянул к себе.

Они стояли так молча, глядя в глаза друг другу. Потом он увидел прядь волос, выбившихся из косы, эта прядь завитком лежала на шее, где пульсировала тоненькая голубая жилка.

Мика смотрела на него ясным открытым взором.

— Мика! Разве возможно такое счастье на земле!

Она опустила глаза, темная бахрома ресниц легла трепетным полукругом. Вдруг чье-то пение раздалось поблизости. Мика встрепенулась, вырвала руки из рук Булата, отпрыгнула в сторону.

Вдоль берега шел Сауд, громко распевая.

Как дела, Ния-Грузинская?

СТАНЦИЯ Лена до поры — конечная для поездов, следующих из Москвы. До поры, потому что здесь начинается величайшая стройка нашего времени — Байкало-Амурская магистраль. Вертолет покинул небольшой Усть-Кутский аэродром и летит над этой магистралью. Внизу Лена, еще скованная льдами. Первое творение рук бамовцев — железнодорожный мост через великую сибирскую реку. Железнодорожное полотно, извиваясь, уходит на восток пока километров на шестьдесят-семьдесят. Дальше — тайга. Зимняя дорога затерялась в черной лесной бесконечности. Грузины-бамовцы запомнят эту дорогу надолго. Их одиссея началась в первых числах апреля и длилась недели две. Сперва, рискуя жизнью, они перешли через Лену. Лед трещал и крошился под грузовиками и тяжелой техникой, каждую минуту ждали коренные сибиряки ледохода. Грузинский отряд строителей БАМа либо должен был успеть перейти по льду Лене, либо оставить всю технику и строительные механизмы, привезенные из Грузии, тут же, в тайге, и, следовательно, долгие месяцы отсиживаться здесь в безделье. Предупреждали: переправа в апреле — опасна. Тем не менее решили идти. Сперва переправили женщин, потом приступили к переброске техники. Лена осталась позади, но предстояла стодвухкилометровая дорога в распутицу. Шли день и шли ночь, шаг за шагом, метр за метром, по колено в грязи, в жиже из растаявшего снега и прелой листвы; ехали порой на машинах, порой самим приходилось тащить машины. Две недели понадобилось на то, чтобы покрыть дорогу длиной в сто два километра. На сто втором километре был лес, он покрывал склоны невысоких холмов, и была прозрачная река Ния, крохотный участок тайги, вырубленный и расчищенный бригадой Валерия Рухая, и неширокая посадочная площадка для вертолета. У нее тоже своя история: вертодром построила бригада грузинских бамовцев. Их было двадцать человек, которых на парашютах, как десантников, спустили в тайгу. Они вместе с членами бригады Рухая прорубили в тайге полосу длиной в пятьсот и шириной в триста метров. Бревен для вертодрома, естественно, было вдосталь, а вот досок и креплений — нет.

Впрочем, ждать пришлось недолго. Из Звездного, форпоста строительства, на вертолетах доставили двести кубометров распиленного леса. Звездинцы ушли грузинским друзьям свою кузницу на вечерние часы, и Георгий Тархнишвили с Рафаэлом Мелкумовым в несколько дней выковали необходимое количество креплений. 15 апреля на площадке приземлился первый вертолет.

Мост с внешним миром был наведен. Темпы и производительность труда начали возрастать. К маю уже было смонтировано 9 жилых вагонов, разбито 7 огромных палаток, устроены столовая, кухня, склад, налажена подача питьевой воды и электроэнергии и, наконец, проложена первая улица — улица Руста-вели.

С тех пор прошло семь месяцев. Срок невеликий для того, чтобы около ста человек прибавили поселку что-либо значительное, думал я, когда первого ноября приблизился на вертолете к Ния-Грузинской, однако стоило машине описать круг над поселком, и я понял, что ошибался, — вместо палаточного городка подо мной раскинулся поселок с капитальными домами и строения-

ми. Это и дало право сказать видным советским специалистам, с которыми я встретился, слова, исполненные чувства восхищения. Приведу высказывания некоторых из них:

Эдуард Куликов, заместитель начальника «ГлавБАМстроя».

— Успех отряда грузинских строителей явился для нас приятной неожиданностью. Судите сами, каково работать людям, приехавшим из теплых краев в холодную Сибирь, оказавшимся в непривычных и тяжелых условиях. Грузинские строители успешно преодолели эти трудности и заслужили большую симпатию и одобрение благодаря боевитости своего коллектива, его большой трудоспособности.

Василий Бондарев, начальник «Ангарстроя»:

— Отряд грузинских строителей первым среди отрядов союзных республик приехал на БАМ и в крайне трудных условиях проявил высокую организованность, гибкость, способность к оперативному решению вопросов.

Василий Блохин, начальник штаба строительства Западного БАМА:

— В отличие от других отрядов грузинский отряд начал работу на совершенно не освоенном участке в центре тайги. Благодаря организованности и дисциплине отряд в кратчайшие сроки сумел решить сложные задачи. Только тот факт, что «ГрузстройБАМ» к первому ноября выполнил годовой план, сам по себе говорит о боеготовности грузинского отряда.

Юрий Греучин, второй секретарь Усть-Кутского горкома партии:

— Отряд грузинских строителей у нас — пример для всех. Он действует масштабно и целенаправленно, успешно решает не только чисто строительные, но и социальные проблемы. Хотя бы тот факт, что грузинские строители одними из первых выстроили в своем поселке клуб, школу, столовую и даже дворец спорта, говорит об их моральном и нравственном облике и дает право сказать: грузинские строители приехали на БАМ не только внести свой вклад в строительство, но и утвердить новый культурный социалистический быт. Прибавлю, что горком партии доволен здоровым духом коллектива, его монолитностью, высоким уровнем общественного порядка. В этом, разумеется, большая заслуга партийной организации, которая является душой и сердцем коллектива.

Юрий Вербицкий, комсорг Западного БАМА:

— БАМ — комсомольская стройка. Только на Западном БАМе трудится более пяти тысяч комсомольцев, на БАМе сотни комсомольско-молодежных бригад. Среди передовых с удовольствием могу назвать бригады Автандила Ломидзе и Валерия Рухая...

Думаю, этих высказываний достаточно...

Рано просыпается Ния-Грузинская. Ночная мгла еще покрывает тайгу, когда ребята выходят из общежития и направляются на работу. Игольчатый снег хрустит под ногами. Сибирский мороз пронизывает все и вся, дышать трудно. Лицо горит, словно обожженное, но темп труда в этот сорокаградусный мороз не снижается нисколько. Обычно в такое время рубят лес ребята из бригады Валерия Рухая, хотя огромные еловые и сосновые деревья проморожены до самой сердцевины; в такое время обычно возводят стены строительные бригады Автандила Ломидзе и Джимшера Кванталиани, хотя замерзшие доски звенят, как стекло, и гвозди скользят; подкашивают бревна к механической пиле ребята бригады пильщиков, хотя масло в колесах вагонеток замерзло и они не вертятся. Пильщики не нуждаются в градуснике. Когда длинные усы их беспокойного бригадира Георгия Тархнишвили покроется инеем, значит, двадцать градусов ниже нуля, когда на них повиснут две сосульки, словно бусы, — минус двадцать пять градусов, а когда две сосульки, как чурчухелы, висят на кончиках усов — мороз непременно более тридцати градусов.

Ритм работы. С чего или как он начинается, ритм, который становится все более четким, бесперебойным, тот ритм, что позволил грузинским строителям выполнить годовой план к ноябрю?

Трудно сказать, с чего он начинается. Быть может, с необходимости проявить инициативу. Первая инициатива на Нии родилась тогда, когда наши строители не получили ни одного из обещанных восьми сборных деревянно-панельных домов и, следовательно, должны были собственными силами выстроить жилье и другие помещения для трехсот человек.

«ГрузстройБАМ» обратился к руководству строительства с предложением разрешить самим заготовить лес и выстроить дома по индивидуальному проекту, раз возникли затруднения с доставкой сборных домов. Согласие было получено. Под руководством начальника «ГрузстройБАМа» Анзора Двалишвили и главного инженера Александра Улуханова срочно составили проект и смету. Много бессонных ночей пришлось провести инженерам Джемалу Пагава, Вла-

дмиру Николаеву и другим, потому что, промедли они с составлением проекта и сметы, всему коллективу грозил бы вынужденный простой.

Ударным порядком соорудили распиловочный цех. Вся надежда, естественно, возлагалась на материал, обработанный в этом цехе.

Когда человек целеустремлен, работа спорится. Те, кто понимают в строительном деле, согласятся со мной, что возвести два общежития на шестьдесят человек, три четырехквартирных и один восьмиквартирный дома, гараж, столовую, клуб, магазин, несколько складов, центральную котельную и сеть отопления — поистине замечательное достижение, согласятся, что слова одобрения и хвалы в адрес грузинских строителей не лишены оснований.

Высокий темп труда строителей Нии-Грузинской не имеет ничего общего с ложным пафосом, суетой, здесь все делается спокойно, четко, синхронно. Различные участки строительства, бригады, отдельные рабочие, инженеры представляют собой как бы часть единого организма, которому не требуется ни разгона для приобретения инерции, ни остановок для того, чтобы перевести дух.

Эта синхронность — несомненное достижение коллектива. Залог успеха — в правильной организации труда и твердой дисциплине, в основе же трудовой дисциплины лежит недельно-суточный график. Это новшество на строительстве БАМа одними из первых применили посланцы Грузии, и их пример переняли другие, поскольку он оказался эффективным.

Составляет недельно-суточный график производственно-технический отдел. Начальник отдела Джемал Пагава, старший инженер Наташа Николаева и инженер Владимир Аробелидзе тщательно высчитывают, анализируют каждую деталь графика, каждый его компонент. Однако производственно-технический отдел не навязывает своего замысла участкам и бригадам — заранее согласовываясь с начальниками участков, он вносит в график соответствующие коррективы, и затем, по утверждению начальника строительства, график приобретает силу закона.

Секретарь партийной организации «ГрузстройБАМа» Нугзар Мгеладзе из тех, кто не отступает, убедившись в истинности конечной цели. Ко всему, он не любит идти к этой цели окольными путями. Это обстоятельство несколько лишает «деликатности», гибкости его деятельность, но благодаря справедливости и искренности Нугзар Мгеладзе выходит под конец победителем. Это своеобразие характера вожака коммунистов Нии-Грузинской стало методом работы всей партийной организации. Прямота, принципиальность, решимость, способность не отступать перед трудностями — главное оружие двенадцати коммунистов, ядра партийной организации. У нее два главных участка действия: материальный и духовный. Коммунисты Нии каждодневно заботятся о темпах строительства, о ходе всего технологического процесса. В июле парторганизация специально рассмотрела вопрос внедрения недельно-суточного графика и после этого, как говорится, шаг за шагом следит за его выполнением. Благодаря ее постоянному контролю график полностью проявил все свои преимущества, на Нии утвердился синхронный темп труда. Плодом работы партийной организации является также то, что социалистическому соревнованию придан конкретный творческий характер.

Но главный объект заботы коммунистов — человек, его моральное воспитание. Всюду, на каждом участке, в любой ситуации они ответственны за моральный климат коллектива. Так везде, и особенно на БАМе.

Большинство строителей на Нии — молодежь. Работа с ней — особая задача парторганизации.

Партийная и комсомольская организации чутко относятся к потребностям и интересам молодежи. Именно они постановили начать строительство клуба. Но постановление постановлением, а как это сделать? Каждая бригада выполняет свое задание, план предусматривает строительство жилых домов, а клуб должен быть построен в основном поселке не ранее, чем через три года.

Выход нашлся: отобрали из каждой бригады по одному комсомольцу, организовали из них комсомольскую бригаду и доверили ей строительство клуба. Бригадир Гогги Кивидзе и его товарищи Михаил Кикалишвили, Юрий Илуридзе, Нодар Гугулашвили и Нодар Квеладзе с такой энергией и охотой взялись за дело, что торжественное заседание, посвященное юбилею Великой Октябрьской социалистической революции, проводилось в выстроенном ими клубе.

Сейчас здесь демонстрируются кинофильмы, проводятся концерты, читаются лекции, репетирует молодежный эстрадный ансамбль строителей.

Ничто, пожалуй, так не сплачивает коллектив, как спорт. А на Нии любят спорт. Мне довелось смотреть первенство Западного БАМа по вольной борьбе, проводившееся в Братске. Команда Нии-Грузинской одержала блестя-

щую победу. Механизатор Ваню Джашишвили и водитель Зураб Рохадзе стали чемпионами, столяр Михаил Кикалишвили и водитель Гулади Шеквиладзе вышли на второе место, столяр Нодар Гугулашвили — на третье. Но, на мой взгляд, главное не то, что победили борцы Нии-Грузинской, главное — тот духовой ный настрой, мобилизованность, которую вызвало в строителях соревнование. Весь коллектив в эти дни работал с еще большей энергией и подъемом.

Председатель Усть-Кутского горисполкома А. Конотопец сказал мне:

— У нас на Нии-Грузинской нет ни отделения милиции, ни уполномоченного, и, представьте себе, мы не собираемся создавать товарищеский суд.

Что и говорить, не все сто сорок человек ангелы, но сила общей дисциплины настолько велика, что уже никто не осмеливается ее нарушать.

Внимательно присматриваются на Нии к каждому вновь прибывшему. Я имею в виду не только гостей, но и в первую очередь тех, кто по собственной инициативе приезжает сюда работать. Начальник «ГрузстройБАМа» Анзор Двалишвили объяснил мне причину этой осторожности:

— Мы сумели создать дружный, сплоченный коллектив, установить своеобразный порядок быта и опасаемся, как бы новый, пока незнакомый человек не внес в наш коллектив диссонанс. Строительство БАМа — дело почетное, доверить его можно только достойным...

В строительстве магистрали века участвует каждая республика. Представители разных национальностей приехали сюда. В тяжелых и непривычных условиях сибирской тайги, при колоссальном объеме работ изо дня в день проявляется нерушимое братство советских народов.

Каждой республике, краю или области отведен определенный участок, но это деление чисто формального характера. Общее дело нельзя разграничить. Нуждаешься в технике? Если она свободна у соседа, можешь взять. Понадобился стройматериал? Если есть у соседа, тебе одолжат. Эти взаимопомощь и взаимобмен происходят без всякого указания сверху, без всяких официальных бумаг.

В июне у грузинских строителей БАМа появились близкие соседи — строительско-монтажный трест № 58. Заместитель начальника строительного поезда сказал мне:

— Мы человек двести, приехали в тайгу. У нас не хватало палаток. Грузинские друзья их тотчас же нам дали, своей столовой у нас тоже не было, мы у них обедали; пока соорудили свою электроустановку, пользовались электроэнергией от их установки, словом, если бы не они, верно, нелегко бы нам пришлось.

Была ночь седьмого ноября. Послепраздничный поселок давно уже погружился в сон. Меня разбудил стук. Стучали в дверь квартиры Анзора Двалишвили. Я взглянул на часы. Три часа. Очевидно, важное дело вынудило кого-то прийти в столь неурочное время. Я вышел в коридор. Анзор с кем-то разговаривал. Приглядевшись, я узнал водителя Виктора Пилна. Оказалось, возле Звездного при переходе через реку Нию провалился лед и машина упала в воду. Необходимо была срочная помощь, иначе машина вмерзнет в лед и до весны ее невозможно будет поднять. Нужен был мощный бульдозер, а «ГрузстройБАМ» им не располагал. Анзор с Виктором направились в соседний поселок. Разбудили бульдозериста Александра Вершинина, и тот, не дослушав, тотчас принялся одеваться.

Машина была спасена.

На территории грузинского отряда находится медицинский пункт. Грузины-бамовцы с чувством искренней благодарности говорят о его устройтеле — Министерстве здравоохранения республики. Да одни ли они? Имена врачей Тамаза Урушадзе и его супруги Додо Чумбуридзе известны всем бамовцам. Пациенты добираются к ним на вертолетах, грузовиках. Одного охотника друзья на носилках несли двадцать километров в надежде, что Тамаз Урушадзе спасет ему жизнь, и Тамаз не обманул их надежд — поставил больного на ноги. С тех пор двери домов таежных охотников широко раскрыты перед грузинским врачом. Сколько приглашений получает Тамаз, но, увы, не хватает времени ими воспользоваться.

Грузины-бамовцы дружат со всеми, но особая дружба связывает их со строителями из Армении, хотя они и находятся от Нии-Грузинской километрах в сорока. Но расстояние — не помеха. Приступая к какому-либо новому важному делу, они непременно советуются друг с другом, если что нужно — помогают друг другу. Одним словом, делят все радости и невзгоды.

Шестого ноября на торжественном открытии клуба, естественно, присутствовали и армянские друзья. Главный инженер «АрмстройБАМа» Александр Батаян от имени бамовцев Армении поздравил грузинских друзей. Был заключен договор о социалистическом соревновании между бригадами Автандила



Ломидзе и Рафика Саакяна. Потом за дружеским столом до поздней ночи пели грузинские и армянские песни. Один из ребят с «АрмстройБАМа» Исаханиян, узнав, что я работаю в бригаде лесопильщиков, просил передать привет Гии Чеминава. Поручение его я, конечно, выполнил. Их дружба возникла в весьма опасный для Ния-Грузинской период, год тому назад. В один из жарких июньских дней загорелась тайга. Поселок грузин оказался в кольце огня. Ребята вступили в схватку с пожаром. На помощь им первыми пришли армянские друзья. Только на четвертый день упорной, мужественной борьбы удалось победить огонь. По сей день стоят на окраине поселка обугленные, безжизненные деревья, но вместе с грустью они вызывают и чувство гордой радости — в пору испытаний искренняя дружба двух народов еще раз проявила свою действительную силу.

Из ста сорока человек на Ния-Грузинской, работающих от имени республики, — более тридцати представителей разных национальностей нашей Родины. Это русские, украинцы, армяне, азербайджанцы, осетины, абхазцы. Если спросить азербайджанца Закира Нуриева, кто его брат, он незамедлительно ответит: Гулади Шекиладзе. Вся Ния-Грузинская привыкла видеть их вместе: они снабжают поселок водой. Как минимум, в восьми тоннах воды в день нуждается Ния-Грузинская, и доставлять ее надо вовремя, строго по расписанию. Особенно трудно приходится зимой, но ребята справляются.

Бамовцы — народ удивительно радушный. Радушный и искренний — в одну минуту выложат все свои радости и заботы, посвятят в свои планы, спросят совета. А планов у молодежи хоть отбавляй. И тут же надо сказать, ни разу в течение месяца не слышал я разговора о деньгах. Ребята вполне довольны тем, как вознаграждается их тяжелый, но почетный труд.

Я избегал входить вечером в некоторые комнаты общежития. И не потому, что в них жили негостеприимные хозяева, — просто не хотел мешать ребятам заниматься. На Нии сейчас более двадцати студентов.

В тот день дождь лил как из ведра. Сварщик Зураб Абуладзе и нормировщик Важа Сордия, хмуясь, поглядывали на затянутое облаками небо. Вертолета все не было видно. Ребята нервничали: им непременно надо было быть сегодня в Звездном: на следующее утро начинались вступительные экзамены в филиале Иркутского политехнического института.

— Давай пешком пойдем! — неожиданно сказал Зураб Абуладзе.

Товарищ удивленно посмотрел на него, но тот и не думал шутить.

— А что? Ломоносов от Белого моря до Москвы пешком дошел, чтобы учиться. А нам всего сорок километров пройти по тайге! — Слова его звучали вполне убедительно.

Трое парней — Зураб Абуладзе, Важа Сордия и молодой инженер Анзор Лилуашвили не мешкая отправились в путь. Анзор был делегатом XVII съезда ВЛКСМ и приехал на БАМ с первым отрядом. Руководство «ГрузстройБАМа» поручило ему сопровождать абитуриентов.

В четыре часа ночи они пришли в Звездный, а в девять были уже на экзаменах. Зураб и Важа стали студентами. Успешно сдали вступительные экзамены и водители Сосо Цопория и Гела Годуадзе, столябы Гогн Киквидзе и Жора Аветисов, сварщик Темур Двалишвили, рабочая Марина Налбандян, лесорубы Важа Шенгелия и Слава Залишук.

Ния-Грузинская трудится, живет, учится..



Человек, ТВОРЯЩИЙ мир

1. СОЧУВСТВИЕ ИЛИ СОЗИДАНИЕ!

ПИСАТЕЛИ Анар и Т. Чиладзе, критики Л. Аннинский и Е. Сидоров провели на страницах «Литературной газеты» обмен мнениями по вопросам «соотношения рационального и эмоционального в литературе и искусстве». Беру слова, определяющие тему дискуссии, в кавычки, так как, на мой взгляд, подобная квалификация разговора, состоявшегося на газетной полосе, не до конца отражает и выражает само существо — простите за штамп — «затронутых сторонами проблем».

Неужто это был всего только еще один протест горячего сердца против нападков холодного ума?! Именно так ведь, напомню, назывался и сам дискуссионный «тетралог» и последовавший за ним обзор читательских писем! Но, что ж, согласимся с читателями, хотя они, как известно, и не всегда заведомо правы, да и литература, говоря шире, вовсе не универсам, где продавцу положено только улыбаться, а не пытаться, упаси боже, перечить «нелюбезному потребителю товара»... Но в данном случае все проще: читатель действительно прав, и он точно заметил противоречия, возникшие между холодным умом и горячим сердцем. Вот только, как ни странно, симпатии разделились — одни за горячее сердце (и тут, казалось бы, все ясно!), а другие — за «холодный ум» (и тут многое обескураживающе темно!). Но мнения высказаны, и их стоит повторить.

Студентка из Москвы пишет без обиняков: «Итак, сентиментальность, набирающая силу, чтобы поразить жестоко-сердце. Что это? Нелепость? Поэтическая молодость, по Аннинскому. И в этом с ним трудно не согласиться... Людям нашего времени выпало пережить немало сурового, и все-таки они далеки от «обмороков». Что же произошло? Что

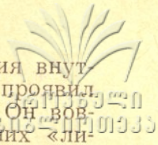
изменилось в человеке? Изменился сам человек, подверженный общему закону развития. Человек научился преодолевать боль утрат, бороться и жить достойно, как полагается в возрасте возмужания».

Итак, декларация сторонницы «холодного ума» не терпит кривотолков: для нее излишняя эмоциональность — признак поэтической молодости, а умение сдерживать свои чувства, поверять их «наблюдениями ума» — признак истинной зрелости. Причем, «молодость и зрелость» в таком контексте не только личные характеристики человека, но и этапы в развитии общественного сознания.

А вот и другая позиция. «Обнаженность чувств, так называемая чувствительность, нужна, и не только нужна, а просто необходима, если, конечно, она правдива», — заявляет читательница, не оставляя никаких надежд для «сумрачных» противников «горячего сердца»...

Но все это, так сказать, отраженный свет, — и посему не благоразумней ли просто послушать самих участников дискуссии, взвесить все их доводы «за» и «против»; отделить раз и навсегда овец от козлищ, решив тем самым и данный спор и завершив вековечное бореие ума холодных наблюдений и сердца горестных замет?!

Анар в дискуссии занимает четкую, хотя и крайнюю позицию. «На мой взгляд, — провозглашает он свой символ веры, — открытая эмоциональность, лучевая направленность на чувства, да и на чувствительность (не побоимся этого слова), оказывающие немалое воздействие на читателя или зрителя, — это новый и положительный фактор в современной литературе, в кинематографе, на театре. Я обозначил бы это явление добрым старым словом «сентиментальность».



Анар — за сентиментальность, но он не прочь вполне рационалистически определить и историческое место, и историческую роль сентиментального направления — или «этапа», — как говорит Анар, в нашей литературе: «Если в нашем прошлом и были проявления сентиментальности, то искусство этого стыдилось. Сейчас, мне кажется, наступил этап, когда открытая эмоциональность, апелляция к чувствам неизбежны».

Анар готов подкрепить свои теоретические установки и живой практикой сегодняшнего искусства: «Современная сентиментальность в литературе и кино — это стремление форсировать реакцию читателя или зрителя, это поэтика активного сочувствия. Задумаемся над причиной успеха фильмов «Мужчина и женщина», «Романс о влюбленных»... Тут — хочешь не хочешь, — но без слов «сентиментальность» или «неосентиментальность» не обойтись! Но это — пристрастия. Есть и свои антипатии. «Я, например, как и многие, — исповедуется Анар, — не люблю героя... пьесы И. Дворецкого. Я мог бы взять Чешкова к себе сотрудником, если бы у меня был для него большой пост. Я с удовольствием работал бы с ним, но моим другом он никогда бы стать не смог... В герое пьесы «Человек со стороны» поражает прагматизм, то, что исцущает человеческое начало в любой работе...»

Позиция Анара — последовательна и целеустремленна. Правда, сентиментализм, по его собственному признанию, не учитывает, быть может, происшедших в мире за два столетия перемен и прямо сближает Карамзина и Лелюша, но это не беда, уверяет Анар, и не стоит «термин» отдавать «прошедшему времени, то есть буквально списывать в архив».

Однако между «списанием в архив» и требованием терминологической точности — далеко не знак равенства. Да и понуждает к «уточнениям» вовсе не страсть к схоластическим дебатам, а наличие различий или, говоря острожней, осознание специфичности связей и отношений между системами тождественными или системами изоморфными. В первом случае речь может идти о «новом сентиментализме», о стиле, глашатаи теории которого пренебрегают историческими общественными переменами; во втором — создают теорию более широкого диапазона, охватывающую произведения хоть и близкие по духу, по некоторым параметрам формы, но закрывшие, тем не менее, конфликты исторически иных общественных групп и классов, нежели их изоморфные предшественники.

Склонность учитывать различия внутри изоморфно сходных явлений проявил в полной мере Тамаз Чиладзе. Он вовсе не хочет видеть в сегодняшних «литерических прозаиках» лишь прямых эпигонов Карамзина, уютно устроившихся на славном острове Борнигольм.

Т. Чиладзе все время настойчиво повторяет, что «нет никакой нужды изменять знак «минус» на «плюс» перед словом «сентиментальность». Другое дело — надо ли скрывать свои чувства во имя, скажем, «современного стиля» поведения? Создается впечатление, что мы сами, писатели, так стыдимся порой своих чувств, что даже подходящего названия для них у нас нет. И вот уже Анару приходится обращаться к явно неудачному в данном случае термину «сентиментальность»... Сентиментальные настроения, разумеется, характерны для человека, но... так же характерно стремление скрывать это состояние души! Люди интуитивно ощущают, что чрезмерная чувствительность не особенно хороша. Будем откровенны и признаем, что и в искусстве эта черта характерна лишь для произведений не самого высокого качества. Возьмем хотя бы фильм «Мужчина и женщина», это картина, бесспорно, сентиментальная, но и, бесспорно, не высокого качества... Что же касается других кинофильмов, названных Анаром, то они, на мой взгляд, не сентиментальны, а поэтичны. Мы почему-то упорно избегаем этого слова: все что угодно, только не поэтичность!».

Итак, нам предлагают отбросить термин «сентиментальность», а величать сегодняшнюю прозу «поэтической». Внутри «лагеря» эмотивистов, как видите, обнаруживаются тоже свои сложности и противоречия: одним нравится Лелюш, а другие удивляются, что его фильму в Канне был присужден «Гран-при». Одни — готовы «сентиментальничать», а другие — только за «поэтическую прозу». Одни — только с чистой эмоцией «идут» и в теорию литературы, другие — здесь и осмотрительней, и строже... Впрочем, спор Анара с Чиладзе — только внутреннее дело «эмоциональных прозаиков»; в своих антипатиях они едины. «Связывать появление такого героя, как Чешков в пьесе Дворецкого «Человек со стороны», с проблемой научно-технической революции, как это сделал в одной из своих статей Л. Аннинский, значило бы признать, что мы ничего не знаем об этой революции... Настанет время, — предсказывает Т. Чиладзе, — когда детей будут пугать Чешковыми». И все же, ощущая общность позиции эмотивистов, выслушав разные голоса из «стана горячих сердец», мы все же примем во внимание,

прежде всего, доводы тех из них, кто учитывает не только типологическую общность литературных направлений, но и реальность исторической дистанции, тех, кто зовет к поэтичности, оставляя сентиментальность былым эпохам!..

Итак, «парламентером» с одной стороны дискуссионной «баррикады» может выступить страстный поборник поэтичности Т. Чиладзе. Ну, а с другой? Конечно, Л. Аннинский.

Он сразу же вмешивается в спор. «Постойте, постойте, — недоумевает критик, — какая поэтичность? Давайте прежде с сентиментальностью разберемся. Сентиментальность как психологический момент существует всегда. Но далеко не всегда этот момент выдвигается как литературная программа, да и не всякий такую программу примет. Да, был Карамзин, было оттаиванье души после рационального XVIII века — необходимый этап при переходе нашей культуры от Ломоносова к Пушкину. Но попробуй ствести к сентиментальному и Пушкина, и все, что было после него! Перечитайте «Бедную Лизу»... Да я ее, не задумываясь, отдам за любой абзац карамзинской же «Истории!» Положим, Карамзин был давно. Тогда я назову еще один «программно-сентиментальный» этап, поближе: годы нашей молодости. Когда с романами Веры Пановой в сердце мы голосовали за простые чувства и литература словно заново обучалась элементарной чувствительности. Назову и те годы, когда, обучившись, мы сами стали учить этой самой душевности — я имею в виду уже лирическую прозу начала прошлого десятилетия... Вот и посмотрим, изменились ли мы с тех пор... Чувствую, что Тамаз Чиладзе настаивает на термине «поэтичность». Хорошо, примем это. Я и сам, так сказать, в плену у поэзии пятидесятых — шестидесятых годов, у молодого Рождественского и молодого Евтушенко, у раннего Думбадзе и раннего Чиладзе, потому что в известном смысле человек всю жизнь остается в плену своей поэтической молодости. Но в реальности мы давно уже ушли от той «поэтичности». Хорошо это или плохо? Хорошо. Хорошо все, в чем выявляется реальность нашего движения...»

Реальность движения, по мысли Л. Аннинского, и выдвигает сегодня на авансцену исторической и художественной жизни делового, трезвого, рационально мыслящего героя. «Переживание, — иронизирует Л. Аннинский, — это прекрасно. А за переживанием-то что-нибудь следует или нет? Я не согласен, что современная проза имеет сверхзадачей переживания, сентиментальность или поэтичность... Возьму только

тех писателей, которые мне сегодня особенно близки: Быкова и Богомолова. Много ли у них чувствительности? Нет, ее! Еще в старых быковских повестях, да и то не без натяжки, можно уловить оттенок жалости, что ли, к герою. Точнее, там сверхзадачей было показать на войне живого человека. Это и был тот самый «сентиментальный этап», который лет пятнадцать назад проходила наша литература... Но возьмите последние повести Быкова: они жестки, сухи, принципиально «технологичны». Кого вам больше жалко в «Обелиске»: учителя или учеников? Дурацкий вопрос? Дурацкий. Потому, что повесть-то про другое. Она про то, как человек делает выбор и как за него расплачивается, закон расплаты жесток. И Богомолов в «Августе сорок четвертого...» тоже подчеркнуто «технологичен». И у него сверхзадача — не сочувствие вызвать, а показать расплату человека за выбор, за избранную позицию. Кто прав: Аникушин или Алехин? Оба правы, и в этом все дело: каждый прав со своей точки зрения... Приход Чешкова и вообще делового человека в нашу прозу 70-х годов есть явление совершенно закономерное. И произошло это не оттого, что какие-то писатели «вздумали» выдавать этого героя в пику «сентиментальному человеку» 60-х годов, а какие-то критики будто бы составили «заговор» против поэтичности, а оттого, что чувствительность как сверхзадача, как программа изжила себя и деловой человек ходом вещей встал в центр внимания. Речь идет о том, как мы все работаем. Если хорошо работать — это «жестокость», тогда я согласен быть «жестоким».

Слова о жестокости — это, конечно, своеобразный максимализм, ибо «не будьте сентиментальными — и вам не придется быть жестоким» — и не на эти слова, конечно, хочет Л. Аннинский обратить, прежде всего, наше внимание, нет, для него важно подчеркнуть закономерность появления «делового человека» и перечислить те произведения, где «поступь истории» слышна, на слух его, наиболее отчетливо. Тут он особенно жаден до фактов. «Да, — заявляет он, — был час, мы прошли школу сочувствия, и мы несем это в душах; плохи мы были бы, если бы не несли, не хранили. Но неужели вы не замечаете, как далеко ушли мы от той сентиментальности? Неужели и теперь, после Шукшина и Белова, после Богомолова, Быкова и Распутина, после «Аргонавтов» Отара Чиладзе и айтмаговских повестей, после пьес Дворецкого и Вампилова, после фильмов Памфилова и Тарковского, Иоселиани и Океева (я называю опять-таки художников, которые

мне близки, но верю, что есть тут и какой-то объективный процесс), после всего, что они дали литературе и искусству за эти пятнадцать лет, — вы воображаете, что вам хватит «чувствительности»? Не поверю!» Но, кроме феноменологии, списка, Л. Аннинский предлагает и свою антологию литературы и творчества отдельных писателей. «Уж на что прочно работал Нодар Думбадзе, — замечает Л. Аннинский, — и тот в «Белых флагах» почувствовал, как эмоциональные схемы рушатся».

2. НТР — И ИЗМЕНЯЮЩИЙСЯ МИР

Если Т. Чиладзе всячески подчеркивает вечность, непреходящность, абсолютность — тематическую, образную, поэтическую — искусства и литературы, то Л. Аннинский не считает целесообразным, нужным, возможным — для «изящных искусств» — уходить и от дел насущных, нынешних, сегодняшних. Чиладзе, в полном соответствии со своими теоретическими установками, настаивает на понятии «поэзия» потому, что «даже образ Гобсека, по его словам, создан благодаря поэзии. Поэзия — это то, что выделяет человеческую личность из хаоса будней, обобщает ее и приобщает к бессмертию. Каким жалким был бы царь Эдип в суде — и как велик он на сцене!» Аннинский, опять-таки оставаясь верным своим основным постулатам, говорит о том, что лучший из последних рассказов Думбадзе «Неблагодарный» пронаизан не просто сочувствием к человеку, но мужественным уважением к его праву самому решать свою судьбу — согласны вы с его решением или не согласны. Сказано чрезвычайно ясно и определенно! Суть в том, что человек имеет право, не откладывая до лучших времен, уже сейчас, сам решать свою судьбу — и неважно, согласны вы с его решением или не согласны!

Но этот новый эмоциональный принцип, это новое авторское отношение к миру проявляется у Нодара Думбадзе, по словам Аннинского, только в рассказе «Неблагодарный». А в романе «Белые флаги» писатель остается верным прежним «эмоциональным схемам», прежнему принципу «сочувствия человеку».

...Ядро романа — сцена суда над Исидором Саларидзе, обвиняемым в убийстве его зятя. Неважно, что суд импровизированный, что проходит он в тюремной камере, что прокурором выступает Како Девдариани, а заседатели и председатель суда — его соседи по камере. Не имеет значения, что подобного суда, быть может, и не было в действительности, даже в «реальной роман-

ной действительности», что все происходящее — только плод воображения либо героя романа Зазы Накашидзе «председателя суда», либо самого Исидора Саларидзе, «обвиняемого». Все это не имеет никакого значения. Значение имеет лишь то, что Девдариани очень тщательно, кропотливо и скрупулезно анализирует «преступление» Саларидзе и приходит к выводу, что он виновен в совершенном убийстве. Прокурор не упускает из виду ничего существенного в деле обвиняемого — он апеллирует в своей заключительной речи как к опыту истории, так и к своим собственным «умозаключениям»! И история, и его личный опыт анализируются им с позиций самой высокой гуманности и гражданского долга! И вывод его «неукоснительно справедлив»: «Я ненавижу всякое кровавое насилие, я считаю величайшим преступлением насильственное лишение человека дарованной ему богом жизни, да и не только жизни вообще — но хотя бы одного ее дня! И эта ненависть во мне настолько сильна, что я все же делаю один-единственный выбор: Я, Како Девдариани, как гражданин и как государственный обвинитель, требую: признать подсудимого Саларидзе виновным в предъявленном обвинении и приговорить его к высшей мере наказания, предусмотренной четвертой статьей Уголовного кодекса Грузинской ССР, — к расстрелу». Круг замкнулся — ненавидя всякое убийство, но, полагаясь в данном «деле» только на «бесчувственный анализ», Девдариани, как прокурор, сам совершает безжалостное, жестокое убийство. Никакие детали тут не спасают положение. Ни на какие подробности тут не сошлешься. Пусть прошла перед нами восстановленная объективным прокурором вся жизнь Исидора Саларидзе; пусть осудили мы, вместе с Девдариани, «собственнические» поползновения «обвиняемого», требовавшего от дочери и зятя признания его прав как хозяина дома; пусть не обрадовали и нас слова Саларидзе, не преминувшего упомянуть о том, что «ни я, ни моя дочь ни разу не напомнили ему, что в наш дом он явился в залатанных брюках, рваных туфлях и перелицованном пиджаке и что на работу, откуда он сейчас таскал эти проклятые деньги, он пошел в моих брюках...». Пусть многое нам не по душе в поведении, словах, мыслях обвиняемого! Но мы, вместе с «заседателем» Гулюяном, обращаемся к прокурору со словами, рвущимися из самого сердца: «Подожди! Не будет никакого приговора!.. Значит, нет на свете ни справедливости, ни сострадания?! Где твое сердце, Лимон? Где твоя человечность? Где

твое хваленое правдивое слово? Что ты наделал, Лимон?!».

Кажущаяся логичность, мнимая интеллектуальная беспристрастность Девдариани приводит участников заседания к катастрофе. А читателей думбадзевского романа — вопреки демонстрируемому аналитическому чутью Девдариани, наперекор «множащимся» подробностям судебного следствия — к ощущение творчества синтетического, эмоционального, «сочувствующего» отношения героев и автора ко всему происходящему в мире. Притчевый характер романа Думбадзе, в котором легко угадываются переключки со многими библейскими мотивами (скажу лишь, что в «камере совести» томится десять узников, преступивших десять заповедей), отказ художника от разработанных характеров, насыщенных индивидуальным и социальным своеобразием (сравните с первым его романом — «Я, бабушка, Илико и Илларион»), перенос действия в сферу воображения, «откровенного искусства» — все это, на мой взгляд, свидетельство подчеркиваемой «нерасчлененной эмоциональности», в которой Думбадзе ищет опоры для своих «эмоциональных схем». Пожалуй, даже применительно к «Белым флагам» в большей мере, чем в отношении какого-либо другого думбадзевского романа, можно говорить как раз о принципиальном отвержении рационализма, как мироотношения и мироощущения, чреватого, по мысли писателя, жестким, жестоким расчленением мира, распадом связей между людьми, их эгоизмом, бессердечием и бездушием. Думбадзе готов совершенно отказать своему герою в «праве самому решать свою судьбу — согласны вы с его решением или не согласны», — лишь бы не поколебать его сострадательности, его тяги к сочувствию ближнему своему.

А Аннинский, в полном соответствии со своей концепцией «активного человека», считающий Доброту лишь предпосылкой человеческого поведения, лишь основой деятельности личности, усматривает в «Белых флагах» свидетельство «кризиса этой позиции». В недавней статье в журнале «Дружба народов» критик писал: «Сопоставьте это любвеобилие, это желание поладить со всеми, эту гармонию без берегов с обстоятельствами «Белых флагов», а проще говоря, с тюремной камерой, и вы получите ощущение той кризисной мертвой точки, которую в середине семидесятых годов проходит проза Нодара Думбадзе... Герой проповедует добро и любовь. Огромные белые флаги грезятся ему над миром — символы «добра», милосердия и любви. Я же, читатель, по привычке вижу в белом флаге совсем другую

символику...». Аннинский не хочет этой символики, он отвергает «капитуляцию» во имя «акции личности, решающей свою судьбу».

Ну что ж, если мы и не согласны или даже только не во всем согласны с критиком, мы не можем отказать ему в последовательности, с которой защищает он позиции «активного героя», «делового человека», личности, самой решающей свою судьбу.

3. ЕДИНСТВО НЕДЕЛИМОГО

Было бы неверным утверждать, что Дворецкий, автор «Человека со стороны», или Думбадзе, автор «Белых флагов», попросту игнорируют иные, нежелли проповедуемые ими, тенденции человеческого развития. Они не антиподы, смотрящие в разные стороны, каждый из них — равноправный участник дискуссии, по-разному оценивающий — и одинаково недооценивающий — доводы своего оппонента.

Дворецкий, скажем, вовсе не чужд мысли о необходимости «сочувствия человеку», он специально рассказывает читателю и зрителю о чуткой решительности, с которой Чешков строит свои отношения с «неуравновешенной» женой. Эта линия пьесы — свидетельство внимания драматурга к интимно-духовной жизни героя, даже способность его внимать звучанию «чувствительной» струны чешковской души, но вся эта «душевная область», вся эта по-чешковски своеобразная чувствительность отнесена раз и навсегда в сферу личных отношений, изолированную от отношений производственных, общественных, социальных. Сюда чувствительность — ни-ни! А именно поведение человека как общественного человека и занимает, прежде всего, автора пьесы «Человек со стороны». Ну, а личная жизнь? Она тоже драматургу не безразлична, но присутствует в пьесе где-то на периферии, так как решать здесь, кажется драматургу, нечего, здесь действуют давние и хорошо известные человечеству принципы... И задача писателя — так или примерно так, думается, рассуждает и чувствует драматург — вводить в свое произведение проблемы и конфликты общественные, пронизывая повествование «не просто сочувствием человеку, но мужественным уважением к его праву самому решать свою судьбу — согласны вы с его решением или не согласны».

Думбадзе тоже не уходит от острых проблем и не избегает разговора о праве героя самому решать свою общественную судьбу. Но это — где-то на периферии романа, так как проблемами общественной, социальной, производствен-

вой жизни людей, кажется писателю, сподручней заниматься специальным наукам, а не служить изящной словесности. Даже вся линия поведения героя «Белых флагов» Зазы Накашидзе, твердо отстаивающего свою невиновность и правоту, хоть это и не очень соответствует «точке зрения» следователя, отодвигается в романе куда-то в сторону, уступая основную романную площадь и доминирующую роль в реализации художественной идеи отношениям сугубо личным, складывающимся не под бременем «ложных» общественных страстей и интересов, а подчиняющихся, по мысли автора, изначальному принципу всеобщего сочувствия и сострадания.

Но существуют ли эти две независимые ипостаси человеческой души и человеческих отношений? Можно ли оставаться сострадательным, но отказывающимся от права самому решать свою судьбу — согласны вы с его решением или не согласны? Можно ли, напротив, мужественно решить свою судьбу — согласны вы с его решением или не согласны, но отказываться от сочувствия, сострадания другому человеку? Существуют ли эти две стороны духовной жизни изолированно и разобщенно, и можем ли мы рассматривать их, разрывая все связи между ними?

В повести Валентина Распутина «Живи и помни» словно осуществлен «литературный эксперимент»: писатель, рассматривая оба «способа человеческого поведения» в их соотносительности, убеждается в их абсолютной нерасторжимости, взаимобязательности, взаимобусловленности. Здесь, оказывается, нет выбора «или — или», а односторонность оборачивается либо духовным крахом, либо гибелью, прерывом существования.

То, что герой повести Андрей Гуськов однажды завыл по-волчьи — не простая метафора. «Близко его голос сошелся с волчьим». Тогда Гуськов подумал: «Ну что ж, вот и еще одна исполненная по своему прямому назначению правда: с волками жить, по волчьи выть». И во всей фигуре Гуськова появилось что-то звериное, волчье, и во всем облике его в глаза бросался, прежде всего, звериный оскал и какая-то волчья повадка в движениях. Он и работать стал по-волчьи. Впрочем, хорошо сказано — «работал», такую работу Андрей сам раньше называл «пакостью». Если прежде он и подумать не смел, что способен позариться на чужое, то теперь по вечерней темноте воровал чужой улов, толкаемый на это не голодом даже, а стремлением досадить тем, кто «ходит не прячась и не боясь, хоть в чем-нибудь перебежать им дорожку».

Но это — итог. Неправедной жизни, судьбы человека, бросившего свой народ в его суровую годину, струсившего, бежавшего с фронта, решившего, что «здесь хоть у слабого, хоть у сильного — одна надежда: сам ты, больше никто». Но «сам ты — больше никто», приводит к такому волчьему отъединению от жизни человеческой, к такому мраку и глухотам судьбы «сверхчеловека» и его будущего, что хочется не просто «лишить» его права на собственное решение — согласны вы с ним или не согласны — но и заново начать всю его жизнь, сразу, не мешкая, не откладывая на завтра, показать ему финал всей истории «подобного волеизъявления», представив взору его Настену, жену, опрокидывающуюся с ботика в воду, в холодную воду Ангары, уносящую под сердцем в бездну и своего ребенка, его ребенка, его будущее. Настена скрывается во тьме, сразу и навсегда разрывая его связь с грядущими днями, прерывая его биографию, его судьбу, стирая память о нем...

Но Настена и в своей биографии ставит последнюю точку. Она не память о себе приглушает, нет, память о ней, как ни странно, будет жить и теплиться в сознании людей — она жизнь свою обрывает... А люди будут добры к ней, погибшей от своей доброты. Они, вопреки всем обычаям, похоронили ее не на кладбище утопленников, а «среди своих, только чуть с краешку, у покосившейся изгороди», Андрею, дезертиру и предателю, ставшему против людей, зажившему волчьей жизнью, вину его односельчане не простят, а Настену поймут и даже пожалеют. Словно слышали все ее сбивчивое, чуть внятное признание: она любила его, жалея, и жалела, любя, — эти два чувства неразрывно сошлись в ней — в одно. «И ничего с собой Настена поделать не могла. Она осуждала Андрея, особенно сейчас, когда кончилась война и когда казалось, что и он бы остался жив-невредим, как все те, кто выжил, но, осуждая его временами до злости, до ненависти и отчаяния, она в отчаянии же и отступала: да ведь она жена ему. Сказано ведь: кому на ком жениться, тот в того и родится». Да и верила Настена, что в судьбе Андрея, с тех пор как он ушел из дому, есть и ее участие. Поэтому и встретила его, несмотря на все страхи свои, как жена, как верный, жалеющий его человек.

Но жалость ее, ее сострадание «без берегов» — это и бесконечное самоотречение, абсолют, зачеркивающий продолжение, развитие, будущее. Но будущее перечеркивается и безбрежным эгоцентризмом Андрея Гуськова; его «право самому решать свою судьбу», возве-

денное в абсолюте, разорвало все связи его с людьми, привело к отчаянию, бездушию, гибели. Крайности сошлись, и не родившееся дитя — символ несвершившегося будущего.

Трагичны судьбы героев Валентина Распутина. Но не безысходна та полочка жизни, которую пережили мы вместе с Настенкой и ее близкими, односельчанами. Им предстоит творить историю, созидать тот новый, манящий, прекрасный мир, неодолимость которого, predeterminedness и неизбежность явления которого доказана яростной, трагической правдой и повести «Живи и помни». В том, новом мире человек полнее, ярче, четче будет осознавать свои обязанности в социальной структуре общества, глубже поймет и осознает саму системность человеческих отношений; но он же, грядущий человек, будет действовать с той прекрасной свободой, той полнотой чувств, мыслей и воли, которая и будет именоваться человеческой красотой, обретаемой людьми в результате синтеза, гармонического слияния Добра и Свободы.

4. МИР, ТВОРИМЫЙ СЕГОДНЯ

Теория не всегда освещает путь практике. Правда, тогда чаще всего говорят, что жизнь требует более умелого обращения с испытанными теоретическими концепциями, но от одного такого утверждения «права на теорию» разрыв между практической деятельностью и старыми взглядами на ее пути и перспективы вовсе не становится менее значительным. Да и практика, как выясняется, отнюдь не прекращает своего развития, хотя оно и дается нелегко и затруднено бывает многими привычными «умственными соображениями». На поверку, кстати, оказываемся не обязательно исчерпавшими себя либо — более того — обнаружившими свою ложность, — прежние обобщения, бывает, просто не учитывают всего многообразия современных обстоятельств, усложнившейся структуры мира, общества, личности. Иными становятся пространственные рубежи, осваиваемые творческим гением человека, иной становится и способность человека к самопознанию, к объективированию своей внутренней жизни, и, значит, узкими могут выглядеть прежние мерки подхода к действительности, односторонними могут стать прежние ориентиры наших представлений о бытии, недостаточными могут оказаться рекомендации теории, не поспевшей за быстротекущей жизнью.

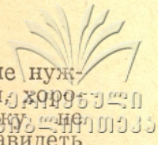
Т. Чилладзе твердо отстаивает «теорию поэтичности», вкладывая в это по-

нятие представление о добре, сострадании, сочувствии. Он не только глашатай поэтичности, он — писатель. В своих романах, повестях, рассказах снова и снова проверяющий ее живительную силу, ее необходимость и неизбежность для плодотворного, перспективного существования человеческого общества.

Меняется хронология чилладзевской прозы, все новые герои населяют страницы его произведений, но это все только развитие его прежних художественных концепций, дополнительно, на ином материале проведенные эксперименты по проверке прочности и «сейсмической устойчивости» изначальных и незыблемых нравственных принципов человечности и добра или, по терминологии Т. Чилладзе, принципов поэтичности.

Казалось бы, куда уж жестче испытание, чем испытание войной! Тут и некоторое нравственное самоослабление было бы если и не оправдано, то, по крайней мере, понятно и объяснимо. А снисхождение к герою, в чем-то и обнаружившему душевную слабину, было бы со стороны писателя, и читателя, не таким уж предосудительным делом. Ведь и слабость может рассчитывать на «доброе к себе отношение». И Т. Чилладзе в последних своих произведениях, в повестях «Постояльцы» и «Басейн», вовсе не повышает голос, наблюдая своих героев в их нелегких жизненных обстоятельствах. Ему смешными, нелепыми кажутся всяческие потребители «жизненных благ», но он смехом никогда не подменяет те человеческие трагедии, которые возникают на перекрестках и перекрещиваниях глубинного человеческого стремления к счастью. И не мещанство, смею заметить, противостоит его художественному идеалу — мещанство лишь следствие, а не причина того общего недостатка человечности, трагические последствия которого и составляют смысл и нерв чилладзевской прозы. У него и решения свои — традиционные, испытанные: он не устает призывать к человеческой доброте, видя в ней, и только в ней, путь к духовной ясности и духовной гармонии.

В «Постояльцах» судьба обрушила на Иону, скромного школьного учителя пения, такие беды и несчастья, что под их бременем могла не выдержать любая, самая твердая и испытанная доброта. Сын не любил Иону — да и за какие особые заслуги и достижения любить учителя пения, к урокам которого все отнесились с явным пренебрежением?! Жизненных благ Иона не добился и сыну своему не мог предоставить особых жизненных удобств. Сын его, Вахтанг, даже пытался однажды, еще в школе, покончить с собой, когда «умная» учи-



тельница химии вдруг объявила всему классу, что Иона оклеветал директора и явился в школу пьяным, потому что трезвый боялся людям в глаза смотреть... А вся вина Ионы и была-то в его незлобности, в неумении постоять за себя, все в том же нежелании «драгаться за жизненные блага», локтями пробиваться к «почету и уважению».

Но вот грянула война, и Иона совершил еще один, «непонятный» поступок. Когда сына его не взяли на фронт по состоянию здоровья, и Вахтанг глубоко страдал от сознания своей «неполноценности», Иона сам стал добиваться исправления этой «несправедливости». Он не мог видеть тоскливых, загнанных сыновних глаз. И в его близорукости Иона ощущал собственную вину... А тут новое несчастье обрушилось на Иону: умерла жена Элисабед, не выдержав разлуки с сыном. Тут же пришло известие о ранении Вахтанга. А у Ионы, когда он узнал о ранении сына, первым чувством была радость: «Как он, наверное, счастлив! — подумал Иона. Но объяснить кому-либо свое состояние он не мог, получить примерно такая несуразица: «Я, мол, не зверь какой-нибудь, чтобы радоваться ранению сына. Но я знаю, что Вахтанг счастлив, поэтому и я за него счастлив». «За него счастлив» — таков символ веры Ионы, не декларируемый, не выдвигаемый в качестве философской программы жизни, а являющийся самой сутью, сущностью, натурой человека. Поколебать подобную убежденность — и не убежденность даже, а чувство — поэтому попросту невозможно; Иона остается верен ей и после жестокой обиды, которую нанесла ему случайная встреча с «бесстыжим инвалидом». «Пожалел человека — и все тут. Хоть убей! Конечно, мира таким образом не переделаешь, но и без жалости тоже не проживешь. Плохо только, что я всегда в проигрыше и все вокруг правы: и жена, и сын, и даже этот бесстыжий инвалид». Себя изменить Иона не может. И пусть он сетует на судьбу, пусть в запальчивости даже заявляет, что «прежний Иона умер, а я хочу жить, слышите», — он сразу же, почувствовав непреодолимое одиночество свое и, сразу же, жалость к обездоленным людям, занесенным войной в маленький приморский городок, спешит в исполком, просит прислать ему жильцов, постояльцев. Сердце Ионы открыто людям, он способен не только на постоянное отеческое сострадание, на жалость к людям, но и на большую любовь, даже если чувство это, как и случилось у Ионы, остается безответным, не разделенным, даже не замеченным...

Кажется, это конец? Жалость и лю-

бовь Ионы остаются втуне, они не нужны, исчерпаны? И Иона, который хоре хорясь, утверждает, что «человеку нужна жалость, его надо ненавидеть или любить. Конечно, любовь лучше ненависти. На ненависть у Ионы никогда не хватит сил. А любовь? Хватит ли у него сил на любовь?» — Иона вдруг обнаруживает, что запутался в собственных рассуждениях. Но за этой путаницей звучит — чуть слышно, под сурдинку — уже иной голос, напоминающий о том, что Иона, дарящий людям всю щедрость своей души, и сам имеет право на счастье!

...Мы расстаемся с Ионой, когда он в сизом предутреннем свете, приоткрыв дверь в комнату Евы, увидел рядом с нею сына своего Вахтанга. Мы фиксируем в памяти последнее, невольное движение Евы: «Женщина приподнялась с подушки и, узнав Иону, приложила палец к губам... Тт-с». Мы надолго запоминаем преисполненный тихой боли, горького сочувствия к своему герою ответ самого автора: «Как будто Иона собирался разбудить Вахтанга...». Но мы уносим с собой и глубинную суть фразы — Иона никогда не посягнет на чужое счастье, Иона может только жалеть и любить... А сверх всего — сверх прямого, внешнего смысла слов и их сокровенного внутреннего звучания — снова и снова вспыхивают в сознании давние, казавшиеся случайными признания Ионы: «Плохо только, что я всегда в проигрыше». И еще: «Я хочу жить, слышите!..». Не есть ли этот крик Ионы — поверж всего — и доброты его и сострадательности, душевной деликатности и готовности к любви, — не есть ли он предвестник, предчувствие рождения нового Ионы, готового не только любить, но и способного построить новый мир, в котором человеческий талант любви будет действительно цениться как высший и прекраснейший дар!

Может, этот мотив любви-созидания, звучащий в «Постояльцах», всего лишь эпизод в творчестве Т. Чиладзе? Нет, не так. В повести «Бассейн» новые ноты звучат еще ошутимей и отчетливей. Они не заглушают прежнего мотива — верности, бесконечности терпения и любви, — но они осложняются теперь раздумьями героини повести, жаждущей еще «хотя бы раз увидеть свое настоящее лицо». Она готова теперь к действиям решительным и смелым, она помнит об окружающих, но и себя не исключает из мира живых, достойных любви и счастья...

5. МИР ТВОРИМЫЙ ЛЮДЬМИ

Когда произносится самоприговор, то есть надежда, что за ним наступит не

новый взрыв негодования, не торопливый перебор всех мыслимых и немислимых причин, приводящих к печальному результату, а конструктивный поиск решения, выхода из образующегося тупика, укрепления надежды, что такой выход существует, не может не существовать. Или, как говорит автор «Байгурской школы» В. Волков: «В науке то, что ты уже знаешь, больше не поможет. Опыт может быть полезен, а может — вреден. Ты ничего не знаешь, ты всегда в тупике. И никто не знает, и не знал, и не мог знать. Кроме бога, замыслившего этот мир. Последний термин — для нас и для древних в равной мере — формулировка веры в простоту и смысл среди хаоса. Непоколебимой и недоказуемой, как и надлежит быть истинной вере».

А почему «самоприговор»? Неужто только потому, что В. Волков — писатель, автор точнейшей и остроумнейшей новеллы (в журнале почему-то «обойден» жанр вещи?), вступает в серьезнейший конфликт с В. Волковым — доктором физико-математических наук (об этом весьма кратко упомянуто в небольшой журнальной аннотации)!?

Неужто дело только в очередном расхождении между «техниками» и «гуманитариями»? Нет, речь идет о неизмеримо большем: о самопризнании в том, что увлеченность самим движением, даже обещающим дерзновеннейшие открытия в будущем, даже, быть может, тайны жизни и смерти, оказывается совершеннейшей инерцией, ни для кого в будущем не нужной, ибо попросту некому будет воспользоваться великими открытиями, некому будет жить в постэпоху «сверкающих научных обретений». Отчуждение от самозадач человеческих проникло так глубоко и распространилось так далеко — говорю о «материале» новеллы-памфлета «Байгурская школа», — что попросту завтра некому будет воспользоваться плодами блистательной деятельности плеяды ослепительнейших ученых мужей. В своей самозабвенной увлеченности все более тонким исследованием мира, его все более кропотливым препарированием, обнаружением почти призрачных связей его почти призрачных частиц деятели байгурской школы сперва попросту пренебрегли истинными принципами бытия, а потом и прочно запамятавали о первоначальных, краеугольных основах человечности, жизни человеческого духа, самого Человека. Вот деятельность и стала манить издали миражом бессмертия, но... без человека, свободы, но... не для людей, будущего, но... без настоящего. Вот и перестали у людей рождаться дети — им попросту нет места в этом лишенном

смысла и красоты самоубийственном псевдодвижении.

В этот миг и был произнесен самоприговор. И удивительно, несмотря на всю тяжесть самообвинений, именно в этот миг и вспыхнула надежда — не все еще потеряно, есть еще возможность возрождения, только придется следовать «закону Таммуза», того самого, которого современники видели бродящим по небу среди своего огромного мерцающего стада и загадочно изменяющим день ото дня свой облик. «Закон Таммуза» гласит: «Умри и возродись».

Надежду на возрождение, однако, поддерживает не только сама способность к самоприговору. Нет, несмотря на всю кажущуюся нелепость самой мысли о «новом пути», участники байгурской школы не отчаялись перед бездной развершейся перед ними жизненной проблематикой, они сохранили способность улыбаться «перед лицом того, что не может быть разрешено». А это, как известно, значит, что ты «еще не уничтожен». Байгурцы не преувеличивают свои возможности, не переоценивают свою подготовленность — научную и психологическую — к решению проблемы, они лишь «не до конца осознают всю неразрешимость проблемы, не только практическую неразрешимость, но принципиальную...».

Дефицит человечности должен быть восполнен. И тут требуется много умственной смелости, особого настроения и готовности памяти преодолеть собственную косность, собственное закостенение и начать поиск путей к «принципиальному решению проблемы человечности». Отрыва от прошлого — не будет, воображение, по байгурской терминологии, должно быть развито, и тогда — «достигнешь непрерывности». Только надо и в прошлом уметь отделить истинно ценное, духовно плодотворное от мишуры оглушающих слов и ослепляющих красок. Традиция не прерывается, она становится естественной и живой. Да и сам принцип — «Умри и возродись» — не нов, не Таммузом придуман, и он, как не без остроумия выяснили в байгурской школе, «пользовался работами своих предшественников, следы их можно, наверное, найти, если порыться более тщательно. В дальнейшем, как обычно бывает, эта работа и забывалась, и вновь открывалась, предлагались те же результаты, как независимо найденные, но схема решения, по существу, не менялась. Она лишь принимала другие формы, излагалась в других терминах, в соответствии с той техникой, которой пользовались позднейшие авторы. По-видимому, решение вообще единственное, хотя это пока не всеми еще признается».



16.03.69 40
190133

Но давняя схема решения — только опора. Сейчас речь — не о способности заметить рядом живущих, ощутить всю неизбежную жажду общения — социального, общественного, человеческого, не в готовности даже к творению добрых людских связей и отношений, не в памятности на чужую судьбу, на иную жизнь — нет, сейчас речь не только и не столько о самоотречении и самоотдаче — байгурцы к этому готовы, но такой — ныне уже испытанный путь — явно недостаточен и не во всем достоверен. Требуется создание особой модели решения проблемы или, как по-своему говорят байгурцы, — «нет, проблема есть, более того, она даже решается. Но решается в совершенно другом классе предметов и понятий, чем те, которые есть в твоём человеческом распоряжении, решается в расширенном пространстве, не нашем обычном. Не людьми, а богами, если пользоваться другой терминологией». Если пользо-

ваться совсем уж другой терминологией, то люди должны стать чуточку больше людьми, чем прежде, должны сотворить свое новое понимание общности человеческой истории, единства всеобщих человеческих связей.

Мир хочет стать иным — он ждет «помощи» от людей.

Можно, конечно, убежать от решения, но «бегство не может дать ничего, кроме отсрочки. Краткой отсрочки». От решения — все равно никуда не уйти, 70-е годы — не легкие годы. «Очень трудное место», — говорили в Байгуре. И добавляли: «Мы не знаем, что будет, но ведь мы исполняем свою музыку».

Правда, не забудем и такой сентенции: «Ты борешься, если привык к ясности мысли, но должен отступить в силу инстинкта самосохранения». Впрочем, можно ведь сказать и по-другому: ты отступаешь в силу инстинкта самосохранения, но ты должен бороться, если привык к ясности мысли...



Город Аяя и его обитатели

ИМЯ Резо Чеишвили, автора двух романов и нескольких десятков новелл, давно известно грузинскому читателю. И не только грузинскому. Одна из лучших его новелл «Смерть Аль-Разака», напечатанная в журнале «Огонек», сразу привлекла к себе внимание и была отмечена премией. Таким образом, ни одна из публикаций за подписью Резо Чеишвили не оставалась незамеченной. Одни произведения принимались безоговорочно и единогласно, вокруг других велись долгие споры (вспомним роман «Дали»), но в том и в другом случае новое слово автора не оставляло равнодушным ни читателя, ни критику.

В чем же секрет, в чем притягательная сила этого еще недавно молодого, а сегодня уже зрелого мыслителя и мастера прозы? Думается, прежде всего в абсолютной самобытности, оригинальности авторского почерка и художественного видения. Оригинальность и независимость Р. Чеишвили несомненны и бесспорны, хотя и у него, как у всякого настоящего писателя, начинающего свою деятельность не на пустом месте, есть предшественники как в родной, грузинской, так и в мировой литературе. Мне лично вспоминаются герои Давида Клдиашвили, когда я думаю о некоторых рассказах Р. Чеишвили. И наверно, не только мне приходит на память Чехов. Так и хочется сказать, что рассказы Р. Чеишвили пронизаны чеховским юмором, чеховской любовью к маленькому человеку, чеховской добротой и непримиримой ненавистью к обывательской пошлости. Но, повторяю, все эти «родственные связи» с классикой весьма условны, ибо у писателя есть свой собственный мир, имеющий резко отличительные признаки. И собирательным образом, символом этого мира может служить город Аяя, где происходит действие некоторых произведений Р. Чеишвили, возможно даже не очень многих, но и в тех случаях, когда местом действия является Тбилиси или даже вымышленный город Сальто, «расположенный на аргентино-уругвайской границе», все равно повсюду царит неистребимый дух все того же города Аяя, реального и одновременно фантастического, рожденного писательским воображением и хранящего аромат древности. С одной стороны, Аяя — это плод авторского вымысла, с другой — это вполне реальный, современный город (Кутаиси) с его неповторимым колоритом, с его издавна сложившимся жизненным укладом, иногда вступающим в противоречие с требованиями стремительного нового времени, и, наконец, Аяя — это, согласно мнению весьма авторитетных ученых, древнее название столицы Колхиды, резиденции могущественного Аэта. Именно сюда, в Аяю прибыли аргонавты во главе с Язоном, именно отсюда увезли они Медею и золотое руно. (Кстати, своеобразно интерпретированный этот миф приводится в романе «Динозавры ходят по городу»¹). А сегодня в этом древнем городе кипит самая что ни на есть современная жизнь. И никого, пожалуй, не волнует, что окрестности города хранят неизгладимые следы когда-то водившихся здесь динозавров. Впрочем, не совсем так, Кого-то эти следы все-таки волнуют. Один из героев романа размышляет по этому поводу: если даже безмозг-

¹ Новая редакция романа, известного русскому читателю под названием «Мой друг Нодар».

тые динозавры оставили в мире свой след, то неужели разумные существа — люди (не человечество вообще здесь имеется в виду, а вполне конкретные личности, современники нашего героя) проживут, не оставив никакого следа? Из наивной, пропитанной юмором конструкции встает вопрос философской глубины и важности. Что оставляет на земле после себя человек? Зачем он живет? К чему стремиться? Роман «Динозавры ходят по городу» кончается такой фразой: «А по ночам, когда все живое засыпало и даже неутомивший Риони погружался в дремоту, на проспект выходили динозавры. Все считали их давно выродившимися, но они все-таки существовали и выходили по ночам. Огромные и безобидные травоядные один за другим брели посреди улицы. С глуповатой улыбкой, протянув вперед передние лапы, брели они и оставляли след. Но утром на асфальте, омытом дождем или раскаленном от зноя, на первый взгляд ничего не было заметно».

Резо Чеишвили как раз и занимается исследованием этих незаметных на первый взгляд следов. Однако следы ассоциируются у нас с чем-то уходящим, а герои романа еще только вступают в жизнь, они ищут себя, свое место в жизни. Это проблема, стоящая в центре многих произведений Р. Чеишвили. Причем над смыслом жизни задумываются не только молодые люди. Иногда весьма почтенных, хорошо устроенных и благополучных людей в самый неподходящий момент охватывает ощущение безвозвратно потерянных возможностей, неверно прожитой жизни. Человек понимает, что всю жизнь просидел на чужом месте, что делал не то и не так, что проглядел главное в погоне за суетным и бранным.

В рассказах Р. Чеишвили часто возникает пронзительная, берущая за сердце мелодия мечты, лейтмотив истинного призвания, внезапно возникающий среди серых будней привычного и удобного существования. Особенно ярко можно проиллюстрировать это на примере новеллы «Последние годы жизни Луки Пачоли». Герой этой новеллы — скромный бухгалтер Гриша Немсадзе — примечателен разве только тем, что виртуозно и оглушительно храпит. Его храп — тема вечных насмешек и нареканий в семье. Погруженный в бесконечные домашние и служебные заботы, Гриша совсем позабыл о научном труде, начатом еще в аспирантуре. Резо Чеишвили со знанием дела, серьезно и обстоятельно рассказывает нам об основоположнике бухгалтерской науки — великом итальянском математике Луке Пачоли — единственном преданном друге Леонардо да Винчи... Постепенно образ Луки Пачоли сливается с тем идеалом, который, очевидно, был в юные годы у Гриши Немсадзе, как бывает у каждого молодого человека. Но окруженный нечуткими, равнодушными домочадцами, которых вряд ли интересует что-нибудь, кроме материального благополучия, Гриша Немсадзе все больше удаляется от возвышенного и романтического примера великого математика... В кульминационный момент новеллы, когда мы ждем от героя каких-то решительных действий, он неожиданно делает операцию, чтобы не храпеть и не беспокоить домашних, — подвиг подменяется поступком, трагическое оборачивается комическим, этот поворот вообще заметно любим автором, и с его помощью он нередко добивается желаемого эффекта.

...И вот первая ночь абсолютной тишины в доме. Все спят. Не спит лишь многострадальный герой. «...Гриша не знал, что ждет его во сне, не знал, будет ли он храпеть. Не знал ничего. Он погрузился в дремоту, и то ли во сне, то ли наяву привиделся ему — представьте себе — не автор капитальных трудов Сиверс, который перевел простую бухгалтерию на двойную, не отец, экономист Караман Немсадзе, не «та», которую он любил когда-то, не хирург, который вырезал ему полипы, и даже не Бенедикт Котрул, неаполитанский счетовод, а привиделся ему сумрачный человек в черной мантии с капюшоном, подпоясанный пеньковой веревкой. Аскетически просто, но изящно одетый человек стоял молча и смотрел куда-то печальными, умными глазами. Он смотрел как бы на все сразу и ни на что конкретно. Это был Лука Пачоли, гениальный математик, автор первой бухгалтерской книги и истинный друг величайшего из смертных Леонардо да Винчи».

Такой же горечью пропитана и другая новелла — «Памятник», где герой, в отличие от Гриши Немсадзе, как будто добивается всего, к чему стремился в юности. Известный музыкант Филипе Барнавели никогда не думал, что юбилей покойного учителя грузинской словесности и открытие памятника, к этому юбилею приуроченное, совершат подлинный переворот в его душе и, можно предположить, во всей жизни. (Здесь следует учесть, что плохое знание героем родного языка, несомненно, символизирует его отрыв от родной почвы, от родного народа, от жизненно важных и необходимых каждому человеку корней). Одной из самых лучших сцен в новелле (да и вообще одной из лучших сцен, написанных Р. Чеишвили) является описание прогулки Филипе Барнаве-

ли по сельскому кладбищу, где он встречает памятник самому себе и у читателя вместе с ним возникает резонный вопрос: да полно жив ли он еще, или давно уже покоятся под могильной плитой высокие идеалы и добрые намерения?!

А вот еще один герой, недовольный собственной участью и решивший начать жизнь сначала. (Правда, в данном случае автор с нескрываемой иронией относится и к этому решению, и к его осуществлению. Пожалуй, бывает и так, что лучше добросовестно выполнять свой скромный долг на своем скромном месте, чем гоняться за миражами и химерами). Амиран Сирадзе (новелла «Киносъемка») в один прекрасный день бросает опостылевшую мотыгу, сварливую жену и неблагодарных детей и подается в приморский город, где совершенно случайно устраивается в съемочную киногруппу спасателем. В конечном итоге не умеющего плавать спасателя с трудом вытаскивают из воды. В финале рассказа вернувшийся в родную деревню Амиран вновь мотыжит кукурузу под музыку, льющуюся из подаренного кинорежиссером транзистора.

А вот заведующий реквизитом в провинциальном театре Савле Георгадзе как раз вполне доволен участью, потому что очень любил театр и не без гордости вспоминал, как в давние времена играл в знаменитой «Измене» А. Сумбатова-Южина. Исполнял он бессловесную роль Аль-Разака, которого убивали в III акте. Но, судя по всему, вкладывал в эту роль много души и любви к искусству. Новый директор невзлюбил реквизитора, который, правда, непрочь был выпить, и бедный Савле пишет заявление об уходе. Внешне как будто все в порядке, и нет оснований тревожиться за героя, у которого в руках, по его собственным словам, золотое ремесло (Савле — хороший жестящик).

«И о чем только я раньше думал, — говорит он, — золотое ремесло имел в руках, а принес себя в жертву этому бездарному театру!.. И зарабатываю теперь больше, и по вечерам дома, с семьей... А если вдруг захочется мне в театр сходить, куплю билеты, какие получше. Можно подумать, что их трудно достать! Пальто дам Шуре на вешалку, у Маргалиты возьму программу и сяду в партер, как порядочный человек...»

Но, как выясняется впоследствии, уволенный из театра Савле так ни разу на спектакль и не пожаловал в качестве зрителя. Но зато «...иногда видел во сне свергающий огнями зал. Театр походил на освещенную свечами церковь. Такую церковь он видел лишь однажды в детстве. Только в театре вместо ладана стоял родной запах картона и клея. Савле просыпался в тревоге, понимал, что все это был сон, но сердце почему-то горько сжималось: он вспоминал театр, вспоминал смутно, как что-то давно прошедшее, и не мог забыть, как убили его, Аль-Разака, грузины в III акте...»

Вот так, оказывается, обстоят дела. Истинная любовь к искусству не измеряется размером роли и не зависит от заработка. И Савле Георгадзе, любитель подвыпить, бессменный хранитель реквизита, сыгравший за всю свою жизнь единственную бессловесную роль Аль-Разака, выглядит в наших глазах истинным рыцарем театра. И мы вместе с автором начинаем верить, что были в этом заурядном смешном человеке нераскрытые, незаурядные возможности. В этой новелле особенно внятно звучит подлинно чеховская грусть о неиспользованных силах души человеческой.

Резо Чешвили вообще любит писать о служителях муз. Первое место здесь по праву принадлежит литераторам. Литературный быт стоит в центре таких его новелл, как «Голубые мосты», «Критическая статья», «Новелла в пивной», «Распределение участков». Здесь со всею силой проявляется мастерство Чешвили-сатирика. Он безжалостно высмеивает псевдолитераторов, заботящихся куда больше о славе, чем о подлинном служении делу. Настоящим памфлетом звучит новелла «Распределение участков», где до гротеска обострены верно подмеченные недостатки литературного быта. Вполне серьезно, с соблюдением надлежащего порядка идет заседание, где «писатели» обсуждают, кому где быть похороненным. Естественно, каждому хочется попасть в Пантеон, и никому не хочется получить участок на новом загородном кладбище. Кто-то, кажется, готов хоть сейчас умереть, только бы занять вакантное местечко в Пантеоне, только бы не уступить его «недостойному» сопернику! Совсем неслучайно вспоминаются нам страницы из «Театрального романа» М. Булгакова и главы, посвященные Дому писателей, из «Мастера и Маргариты». Здесь то же фантазмагорическое смешение трагического с комическим, реального с воображаемым, прошлого с настоящим...

Невозможно читать без смеха и «Голубые мосты», где описывается обсуждение сценария, которого никто не читал. Показательно письменная рецензия, присланная отсутствующим членом редколлегии, которая начинается словами: «Я целиком присоединяюсь к мнению выступавших передо мной товари-

щей». Причем эта рецензия, как самый солидный и аргументированный документ, зачитывается в начале обсуждения.

Герой «Критической статьи» систематически напоминает «забывчивому» редактору об обещании напечатать давным-давно сданный материал. Редактор любезен и обходителен, хотя постоянно путает имя критика, называя его то Автандилом, то Шалвой, то Лаврентием. Хвалит его статью, просит не забывать журнала, писать еще и еще. Однако дело не сдвигается с места, и в конце концов запыленная папка извлекается из-под груды рукописей, выясняется, что статья еще никем не прочитана. Все начинается сначала...

Такие новеллы, как «Критическая статья», представляют собой острохарактерные скетчи, которые так и просятся на сцену (получается что-то вроде «Провинциальных анекдотов» А. Вампилова). Автор сам инсценирует их, иногда записывая диалог по всем правилам драматургии.

Комедия нравов и характеров лежит в основе таких новелл, как «Старая история», «Экзамен», «Грузинская новелла». Как правило, анекдот, положенный в основу, здесь перерастает в обобщенный образ, в символ большой обличительной силы.

Большой, доставленный в больницу с острым аппендицитом, платит дежурному врачу деньги, чтобы тот отпустил его, потому что когда-то его обещал оперировать знакомый профессор. На это абсурдное заявление следует не менее абсурдный ответ. «Тебе-то что, — говорит дежурный врач, — ты померь себе спокойненько, а отвечать мне придется!» (новелла «Старая история»).

В «Грузинской новелле» отец — опытный кутила и многократный тамада дает пространное «профессиональное» напутствие отправляющемуся в гости сыну. «Стакан должен быть наполнен так, чтобы оставалось место пригубить... Чутьочку вина оставь на дне... Пей не спеша. Не глотай, как индюк... Когда станешь говорить тост, непременно вставай... Поднимешь стакан, следи, чтобы локоть был на одном уровне с плечом...» и т. д.

Когда сын под утро возвращается изрядно захмелевшим, отец требует подробного отчета обо всем и возмущается нарушениями правил застолья, которые, по его мнению, были в его отсутствие допущены.

Отец: А какой был первый тост?

Сын: За основателей семьи. За покойных.

Отец (в восторге): Что-о?! На крестинах поднять первый тост за покойников?! И это тамада?

В новелле «Экзамен» преподаватель, измученный жарой, внезапно обнаруживает, что нерадивый студент, заслуживающий самой настоящей двойки, — сын его старинного приятеля. Расспрашивая о здоровье членов семьи, преподаватель постепенно двойку повышает до пятерки.

«Ты неплохо отвечал, — говорит он, — я хотел тебе пятерку поставить». «Ничего, — поспешно откликается студент, — поставьте четверку, я этот вопрос летом проштудирую...» «Да четверку я тебе и так ставил, — уверяет экзаменатор, — без всяких...»

Крайне редко автору изменяют вкус и чувство меры, как это случилось, на наш взгляд, в новелле «Пожар». Здесь случай, скорее отталкивающий, чем смешной, остается на уровне грубоватого анекдота и лишен той глубины и силы, которые характерны для творчества Р. Чейшвили.

Есть у героев Р. Чейшвили еще одно характерное свойство. Все они — люди обыкновенные, рядовые, ничего исключительного как будто в них нет. И в то же время это люди не совсем обычные. Есть у них свои причуды, странности, так и хочется назвать их чудаками. Причем чудачество их явно положительного происхождения. Ну разве не чудак, к примеру, герой «Варфоломеевской ночи» — одинокий, покинутый детьми, перебранным в город, старик, который, приняв беспардонных грабителей за долгожданных гостей, от всей души потчует их (правда, потом обращает их в бегство, изрядно поколотив: откуда только силы взялись!). Кстати, этот рассказ чем-то напоминает нам новеллы О'Генри и раскрывает перед нами еще одну сторону авторского дарования. Вообще, надо сказать, литературных реминисценций в произведениях Р. Чейшвили немало. Рассказ «Мастера» заканчивается фразой, явно полемической по отношению к Хемингуэю («Старик и море»): «Старику не снились львы».

Но зато другому герою, неугомонному Шалико Хвингадзе, как сообщает нам автор, снятся «величественные, снежные, сверкающие под солнцем Альпы». Эти сверкающие вершины как бы символизируют ту романтику, тот возвышенный идеал, к которому сознательно или бессознательно стремятся герои Р. Чейшвили. Особенно остро это стремление ощущается в новелле «Ласточки», которую принято считать средоточием многих особенностей манеры и стиля писателя, своеобразной квинтэссенцией его новеллистики.

В полуночном подъезде беседуют не знакомые друг с другом люди — инвалид на деревянном протезе и молодой человек в очках (Александр и Татули). Без всякой связи с предыдущим Александр вдруг спрашивает: «Знаете ли вы, никогда не видел, как ласточки улетают в теплые страны?». И подробно удивительной нежностью рассказывает, как ласточки садятся на выходящий из гавани пароход, остаются на нем в течение двух-трех дней, а потом летят дальше или «пересаживаются» на другой пароход, идущий в нужном направлении.

Есть у Резо Чейшвили два рассказа (а скорее повести), которые стоят в его творчестве несколько особняком. Это «Четвертая палата» и «Нынешним летом в Цхалтубо», имеющая подзаголовок «Хроника одного месяца», изыщное, неторопливое повествование с неожиданно трагической развязкой — в автомобильной катастрофе гибнет главный герой, вокруг которого сосредоточены раздумья автора о судьбах, характерах и о жизни вообще. Так же невесело кончается «Четвертая палата», где мечтавший о славе поэт Бондо Кантарели, находясь в больнице, влюбляется в юную студентку, работавшую медсестрой, и умирает почти так же неожиданно, как и Баigia в предыдущей повести. Читатель вместе с автором скорбит о бессмысленной кончине молодого героя, о том, что Бондо Кантарели даже толком не объяснился в любви, не успел открыть миру свою душу, поделиться с людьми своим даром, пусть небольшим.

Но и в таких грустных ситуациях Резо Чейшвили не покидает чувство юмора. Он подмечает в своих героях смешные черты, не спускает им самых безобидных недостатков. Потому получается, что положительных героев вроде бы у него нет. Все они — меняющиеся от новеллы к новелле облики одного и того же «сквозного героя» — искателя, чудака, обладающего несомненными достоинствами и столь же несомненными недостатками. Однако все эти герои искренне любимы автором, который не столько клеймит и обличает, сколько страдает вместе с ними и заставляет нас относиться к ним с пристальным вниманием и интересом. Если мы и смеемся над героями Р. Чейшвили, то, согласно классической цитате, смеемся одновременно и над собой!

Гуманизм писателя опирается на неколебимую веру в человека. Внутренний мир героев Р. Чейшвили богат и многообразен. Перефразируя известное высказывание, можно сказать, что в каждом из них живет (или погибает) Моцарт. И неудовлетворенность героев связана именно с этим внутренним богатством, с нерастраченными силами, нераскрытыми талантами.

В понимании Р. Чейшвили, счастье — это возможность максимально реализовать свои способности и выразить себя. Иначе — отдать людям все лучшее, что у тебя есть. Заметьте, ни один из героев не стремится к богатству и славе, и неудовлетворенность их вызвана не отсутствием материальных благ. Их томит жажда духовная. Это и заставляет нас сочувствовать смешным и нелепым персонажам. Причем к этой высокой духовности может стремиться скромный бухгалтер Гриша Немсадзе и начисто лишенными ее оказываются «писатели» из «Распределения участков», как будто по роду своей деятельности обязаны жить прежде всего интересами духовными, а не меркантильными.

Разумеется, Резо Чейшвили остается отличным живописцем провинциальных нравов, но еще беспощаднее становится его кисть, когда он изображает провинциалов духа, глухих к красоте и добру. Можно жить в столице и оставаться на задворках прогресса. Можно называться писателем и не ведать ничего о своем долге. Собственно говоря, самая коротенькая новелла Р. Чейшвили если не решает, то во всяком случае ставит насущные морально-этические, а порой и философские проблемы современного бытия. В этом главное достоинство его прозы, ибо без этой глубины и широты охвата мы имели бы просто ряд талантливых фельетонов, анекдотов, шаржей, карикатур, лишенных обобщающей силы, символичности, универсальности, свойственных подлинному искусству.

Мещанство и бездуховность несут человечеству гибель и опустошение. Справедливость этого положения доказывает образ Туквадзе в одной из сильнейших новелл Р. Чейшвили «История болезни Бичико». В центре повествования находится трагическая судьба Бичико — толкового инженера, беспечного здоровяка, ставшего жертвой ложного доноса. Написанная в 1961 году, эта новелла уже содержала все особенности авторской индивидуальности и говорила о недюжинном таланте молодого прозаика. Вместо того чтобы описывать злоключения, выпавшие на долю героя, Р. Чейшвили сдержанно, без всяких комментариев, подчеркнуто соблюдая медицинскую терминологию, с сухостью протокола сообщает нам историю заболевания несчастного Бичико. И от этой внешней холодности становится еще страшнее.

36740
368110133

«История болезни Бичико» обладает достоверностью и силой документа. И это производит более значительное впечатление, чем если бы автор неприкрыто выражал свое возмущение произволом и злоупотреблением властью со стороны Туквадзе и ему подобных.

Туквадзе не имеет индивидуальных характерных черт. Он стандартен, ординарен, безлик и этим страшен. Это обобщенное, абстрактное олицетворение зла. У него нет человеческих живых черт. Это мертвая схема, обреченная на гибель. Отнюдь не случаен диагноз, к которому автор (или молва) приговаривает Туквадзе: рак.

«Туквадзе в одиночестве возвращался домой. Каждый шаг стоил ему невероятных усилий, лицо его то и дело болезненно морщилось, и по всему было видно, что его терзала невыносимая боль».

Таков конец всякого Зла, несущего миру страдания. Туквадзе не смешон, а страшен. И обрисованный с внешним бесстрашием, на самом деле он отвратителен. В Туквадзе сосредоточено все то, с чем надлежит бороться неустанно и беспощадно: человеконенавистничество, торжествующее мещанство, бездуховность и тупая уверенность в собственной правоте и безнаказанности.

Продолжая славную традицию мировой литературы, развивая то известное направление, в котором главным положительным героем является смех, Резо Чейшвили в то же время явился как бы первооткрывателем нового материка в грузинской прозе. Трудно сказать, будут ли у него последователи. Подражать ему непросто. Скупая фраза, сознательно лишенная всяких внешних украшений и «архитектурных излишеств». Точность и бесстрастность протокола, наэлектризованная изнутри зарядом огромной эмоциональной силы. Отсутствие описаний природы. И вообще, как правило, описание заменяется стенограммой жеста, движения. Отсутствие внешних событий и умение в ярких картинках изобразить историю чувства, переживания. Способность замечать в привычной, будничной обстановке фантастическое, иногда невероятное благодаря своей нелепости, это с одной стороны, и умение так показать это фантастическое, что оно выглядит вполне реально и обыденно, — с другой.

Не случайно в рассказах Р. Чейшвили много снов, и часто фантастический элемент присутствует именно в снах (хотя иногда это случается и наяву: например, встреча Филипе Барнавели с собственным надгробием в новелле «Памятник»).

Как правило, взор писателя обращен внутрь, а не вовне. Впрочем, не пренебрегает он и комизмом внешним: скажем, комизм ситуаций в «Голубых мостах» или в «Критической статье». А вот в «Распределении участков» комизм ситуационный незаметно перерастает в нечто более глубокое, писатель ведет нас по лабиринту человеческих душ, и веселый смех застывает на устах, превращаясь в горькую улыбку.

На фоне общего тяготения к крупным формам, широким эпическим полотнам, заметного в грузинской прозе последних лет (отсюда целый ряд появившихся почти одновременно отличных романов), Р. Чейшвили продолжает оставаться мастером короткого рассказа, хотя и он отдал дань «увлечению» романом. Однако его романы — это тема особого разговора, а подводя итог сказанному о новеллах, следовало бы отметить еще одно ценнейшее их свойство: читая эти небольшие зарисовки, родственные моментальным снимкам «с натуры», когда объект изображения, захваченный художником врасплох, не успел принарядиться и напустить на себя приличествующую случаю важность, рассматривая эти этюды быта и нравов, галерею, ведущую не столько вширь, сколько вглубь, мы невольно оборачиваемся и на себя, оглядываемся на свою жизнь, очищаемся от всего мелкого, наносного и, омытые слезами обновления, с надеждой взираем в будущее.



«Загадка» Пушкинской речи Достоевского

СРЕДИ трактовок пушкинского творчества нет ни одной, которая вызвала бы такую бурную, можно сказать, вулканическую реакцию, как речь Достоевского, произнесенная 8 июня 1880 года на торжествах по поводу открытия памятника Пушкину в Москве. Он сам описывает реакцию публики в письме к жене, написанном в тот же день:

«Когда я закончил — я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга, клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть вперед друг друга, а любить. Порядок заседания нарушился: все ринулись ко мне на эстраду: Гранд-дамы, Студентки, Государственные Секретари, Студенты — все это обнимало, целовало меня (...) Например, останавливают меня два незнакомых старика: «Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили. Вы наш святой. Вы наш пророк!

(...) Я бросился за кулисы, но туда вломилась из залы все, а главное женщины, целовали мне руки, мучили меня. Прибежали студенты, один из них, в слезах, упал передо мной в истерике на пол и лишился чувств»¹.

Восприятие этой блестящей речи во многом определялось личностью автора, присутщей ему магической способностью гипнотизировать аудиторию. Из воспоминаний современников мы знаем о его несравненном даре оратора. Когда Достоевский выходил на трибуну, было действительно что-то пророческое в его облике, что-то завораживающее в глухом его голосе, тихом, но отчетливо звучащем во всех концах зала, было что-то таинственное в его проникновенном взгляде. Эффект ре-

чи объясняется также громадным успехом романа «Братья Карамазовы», который в это время печатался в «Русском вестнике».

Глеб Успенский назвал речь Достоевского **загадочной**. Достоевский, говоря о Пушкине, касался самых острых, злободневных вопросов, говорил так, что в его «хитроискусной» (определение Тургенева) речи совместились тезисы несовместимые, намеки тревожащие, смысл которых лишь поначалу казался ясным. Как было не волноваться молодежи, не выражать горячую признательность писателю за то, что она услышала из его уст проникновенные слова о русских скитальцах, которые «ударяются в социализм», «ходят с новою верою на другую ниву» и работают на ней, ревностно веруя, что достигнут счастья не только для себя, но и всемирного. И в то же время как было не торжествовать реакционной части публики, когда Достоевский призывал к отказу от борьбы, к христианскому смирению. Вспомним, что всего лишь за четыре месяца до того, как была произнесена эта речь, Степан Халтурин организовал взрыв в Зимнем дворце, что у всех еще жил в памяти процесс Веры Засулич...

Но всеобщий восторг вскоре сменился недоумением; стало ясно, что непосредственные впечатления заглушили критическое восприятие. Даже Глеб Успенский, поддаваясь всеобщему экстазу, сначала сочувственно оценил выступление Достоевского, но тут же оговорился, что он «человек мудреный» и «нет ничего невероятного, что речь его, появившись в печати и внимательно прочитанная, произведет совсем другое впечатление»². И. Аксаков, присутствовавший на пушкинском праздни-

¹ Ф. М. Достоевский. Письма, т. 4, М.—Л., 1959, с. 171.

² Г. И. Успенский. Полное собрание сочинений, т. 6, Л., 1953, с. 430.

же, писал О. Миллеру 14 июля 1880 года: «Мне передавали сами студенты возникшие между ними потом разговоры: «А ведь знаете, господа, куда мы с нашим восторгом по поводу Достоевского влетим: в мистицизм!»³.

Чуть ли не на другой день после того, как речь была произнесена, вокруг нее началась острая борьба. С критикой выступали представители и демократического, и консервативно-охранительного лагерей. Глеб Успенский, по зрелому размышлению, отверг трактовку Достоевским пушкинского творчества в духе всепримиряющего начала. Возражали против стремления Достоевского перевести вопрос о будущем России в план нравственного самоусовершенствования и представители либерализма. А. Градовский утверждал, что основная проблема, затронутая Достоевским, это «общественная проблема, которую нельзя разрешить проповедью личного самовоспитания...»⁴. К. Кавелин в открытом письме Достоевскому упрекал его в том, что он игнорирует связь между нравственным совершенствованием и условиями, «среди которых человек живет в обществе»⁵. Не принял речь Достоевского представитель консервативного лагеря К. Леонтьев: «По моему мнению, речь Достоевского — речь пламенная, вдохновенная, красная, так сказать, но в основании своем совершенно ложная; ибо нельзя же смешивать так опрочметливо и грубо, как сделал Достоевский, объективную любовь поэта, любовь изящного вкуса, требующего пестроты, разнообразия антитезы и даже трагической борьбы с любовью моральной, с чувством милосердия и со стремлением к поголовной, однообразной протости...»⁶.

Споры о речи Достоевского продолжались на протяжении всей истории русской критики. Речь оценивалась то как открывшая новую яркую страницу в истолковании Пушкина, то (хотя и с оговорками) как реакционная. Разноголосица продолжается и до сих пор.

Изучение «речи о Пушкине» сводилось преимущественно к интерпретации ее окончательного текста. Но попробуем проследить историю работы писателя над ней. В Институте русской литературы (Пушкинский дом), Государственной Публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Государст-

венной библиотеке СССР имени В. И. Ленина хранятся рукописи, отражающие весь ход этой работы, от черновых заметок и полного чернового текста до наборной рукописи и корректуры.

Для понимания замысла и его развития исключительный интерес представляют первоначальные черновые наброски (обозначим их условно «ПД», они хранятся в Пушкинском доме) и полный черновой текст (условное обозначение «ПБ» — Публичная библиотека)⁷. Эти рукописи характеризуются общими для творческой работы чертами, о которых мне уже приходилось писать⁸. В первоначальных набросках речи — записи элементов плана, мыслей, иногда противоречащих одна другой, фрагменты, по которым можно проследить поиски основной и побочных идей. В черновиках есть и нечто несовместимое с проповедью о смиренности, христианском всепрощении. Судя по первым наброскам и черновому тексту, Достоевский, строя свою концепцию, стал отходить в сторону и увлекся такими пушкинскими образами, которые никак не соответствовали евангельскому учению. С восхищением был отмечен образ вождя крестьянского восстания Пугачева, он сложен — «зверел и добродушная русская душа... Характерно, что это определение дано здесь в контексте размышлений о Пушкине, как писателе, который, как ни один другой, «соединился так духовно и родственно с народом» (ПД). В дальнейшем, когда Достоевский приступил к развертыванию первоначальных набросков в полный черновой текст, он посвятил «Капитанской дочке» несколько страниц (в окончательном же тексте это произведение и его герои не упоминаются).

С восхищением отзывается Достоевский в черновиках и о пугачевцах, нарисованных Пушкиным. Даже в сцене, где Гринева чуть было не повесили, Достоевским подчеркнуты такие черты пугачевцев.

В первоначальном наброске есть фраза: «эти — казаки подталкивают его на виселицу: небось — нет, он не пропустил этой черты» (ПД). В ходе

⁷ Первоначальные наброски опубликованы в «Литературном наследстве», т. 83, М., 1973 (публикация И. В. Иванько), черновой текст в кн. «Достоевский. Статьи и материалы под ред. А. С. Долинина», сб. 2, М., 1924 (публикация В. Б. Враской).

⁸ Раздел о Достоевском в моей книге «Талант писателя и процессы творчества». Л., 1969, с. 379—435.

³ «Литературное наследство», т. 83, с. 542.

⁴ «Голос», 1880, № 174.

⁵ «Вестник Европы», 1880, т. 6, № 11, с. 342.

⁶ К. Леонтьев, в сб. «Достоевский и Пушкин». СПб., 1921, с. 19.

дальнейшей работы эта мысль развертывается (ПБ): «Да хоть бы и сам Пугачев с своим зверством, а вместе с беззаветным русским добродушием».

«В «Капитанской дочке» казаки тащат молоденького офицера на виселицу, надевают уже петлю и говорят: «Небось, небось» — и ведь действительно, может быть, ободряют бедного, искренне его молодость жалеют. И замечательно и прелестно».

Достоевский напоминает разговор Пугачева (в главе повести «Незванный гость»): «С тем же молодым офицером встретился наедине, смотрит на него с плутоватой улыбкой, подмигивая глазами: «Думал ли ты, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь?». И потом помолчал: «Ты крепко передо мною виноват». Это: драгоценные черты недосыгаемой, почти умильной как-то правды».

В то время, когда реакционная критика считала «Капитанскую дочку» искажением истории и она была запрещена в учебных заведениях и для так называемых «изданий» для народа», — Достоевский видит в этом произведении идеал искусства жизненной правды.

«Да и весь этот рассказ «Капитанская дочка» чудо искусства. Не подпишись под ним Пушкин, и действительно можно подумать, что это в самом деле написал какой-то старинный человек, бывший очевидцем и героем описанных событий, до того рассказ навнен и безыскусствен, так что в этом чуде искусство как бы исчезло, искусство утратилось, дошло до естества». И здесь же общий вывод: «Вот в этом-то сродстве духа поэта нашего с родною почвою лежит наилучшее и самое обаятельное доказательство правдивости образов». Это «правдивость, перед которой высокая мысль об идеализации, о пристрастии, о преувеличении или увлечении поэта исчезает, ступшевывается, а русский человек, русский дух оправдываются».

В черновом тексте речи интересна характеристика нескольких персонажей «Капитанской дочки», которым свойственно не смирение, а противоположные чувства. Так о «кривом поручике» Достоевский писал: «Вот он стоит перед Пугачевым и на клик к нему: «Присягай» — отвечает в глаза Пугачеву: «Ты, дядюшка, вор и самозванец», зная, непременно зная, что тот его за это повесит. И вот этот кривой, ничтожный, по-видимому, человек, умирает великим героем, человеком braveм и присяжным. И ни одной-то минуты не мелькнет у вас мысль, что это частный лишь случай, а не русский

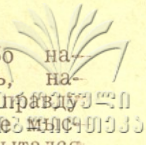
простой человек в огромном большинстве». «Кривой поручик» — из враждебного Пугачеву стана, но здесь Достоевского интересует сам характер, в котором он видит героическое сопротивление накануне смерти во имя своего понимаемого долга. В этом проявлении характера по Достоевскому — типический «русский простой человек».

Другой пример — капитанша: «И вот Пугачев повесил ее капитана, умершего тоже героически, а ее казаки вытаскивают в одной рубахе на крыльцо. Увидала своего старика, сплеснула руками: «Удаля ты моя солдатская головушка, не тронули тебя ни пули турецкие, ни штыки прусские, а погиб ты от беглого каторжника!». И прокричала, уже не думая о том, что и ее повесят: «вместе жили, (заодно) и умирать». Всю-то жизнь муштровала им, а теперь вот нашла в сердце своем и правду о нем: что он удалая солдатская головушка, бравый присяжный молодец»... (ПБ).

Для Достоевского важно здесь не то, что эта женщина — жена капитана, воевавшего с Пугачевым, его восхищает сама по себе стойкость, бесстрашие.

Все это не вошло в окончательный текст речи о Пушкине. Увлечшись в ходе работы образом Пугачева, Достоевский, разумеется, обошел вопрос о нем как вожде крестьянского восстания против царя и помещиков, но все же выдвижение на первый план этого образа, восторженная оценка «Капитанской дочки» сами по себе показательны. Если Достоевский не ощущал бы, что это произведение, его герои, его идея противоречат основной тенденции речи, проповеди христианского смиренномудрия, то он, конечно, не отбросил бы свои столь выразительные характеристики. Ведь если бы он их оставил, то выразителем народного характера так или иначе оказался бы и Пугачев. Автоцензура Достоевского устранила все отвлекающее внимание от безусловно реакционной политической тенденции, которую он старался провести, хотя и не сумел полностью этого достигнуть.

Сообщая о своей поездке в Москву на пушкинский праздник и о выступлении на нем, Достоевский писал одному из реакционнейших идеологов — К. П. Победоносцеву: «Я уже и предчувствовал, что не на удовольствие поеду, а даже, может быть, прямо на неприятности. Ибо дело идет о самых дорогих и основных убеждениях. Я уже и в Петербурге мельком слышал, что там в Москве свирепствует некая клика, старающаяся не допустить иных слов на торжестве открытия и что опасаются они некоторых ретроградных слов, ко-



торые могли быть иными сказаны в заседаниях Любителей Российской Слоvesности, взявших на себя все устройство праздника... Мою речь о Пушкине я приготовил, и как раз в самом крайнем духе моих (наших), то есть, осмелюсь так выразиться, убеждений, а потому и не боюсь, а своему делу послужить надо и буду говорить небоязненно. А славить Пушкина и проповедовать «Верочку»⁹ я не могу»¹⁰.

Свое выступление на пушкинском празднике как акт общественно - политической борьбы Достоевский заранее оценивал и в письмах жене 25 и 27 мая 1880 года. История работы Достоевского над речью свидетельствует, что в окончательном тексте он стремился подчинить толкование творчества Пушкина определенной социально - политической концепции. Он безжалостно устранил оставшиеся в черновике очень интересные страницы, связанные с биографией и творчеством Пушкина.

Среди запланированных было вопросов особенно интересна защита Пушкина от обвинений его в аристократизме. Подразумевая его стихи из «Родословной моего героя» о людях, которые равнодушны к славе предков, Достоевский подчеркивал, что Пушкин под славой предков «разумел доблесть, доблестных предков», а не их аристократизм, «не давить хотел он аристократическим происхождением» (ПД).

Не вошла в окончательный текст и критика распространённого тогда ошибочного толкования стихотворения Пушкина о поэте и черни: Достоевский, анализируя это стихотворение, показал, что Пушкин обличал светскую чернь, а вовсе не народ (здесь скрывалась полемика с Писаревым). Достоевский хотел доказать, что мудрость Пушкина может быть выражена в словах, будто бы пророчески возвещавших смысл жизни:

«Смирись, гордый человек, и, прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудишься на родной ниве», вот это решение по народной правде и народному разуму. «Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собою. Победить себя, усмирить себя — и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными

сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь, наконец, народ свой и святую правду его». Даже верные сами по себе мысли о Пушкине Достоевский пытался подчинить этой ложной идее. Так и способность Пушкина к всемирной отзывчивости — национальной черте русского народа — Достоевским истолкована в качестве мессианской задачи России — внести в Европу идею «братского окончательного согласия всех племен по Христово - евангельскому закону».

Победоносцев ответил Достоевскому: «Порадовался я душевно, что Вы исполнили свое желание, о котором писали мне, и исполнили с таким успехом, отодвинуть назад безумную волну, которая готовила захлестнуть памятник Пушкина. Радуюсь за Вас, и особенно за правое дело, которое Вы выручали»¹¹.

Однако дело обстоит не так просто. В речи звучали все-таки противоречивые мотивы. Она построена по свойственным художественным произведениям Достоевского законам композиции, и здесь слышались, как и в его романах (с поправкой, конечно, на публицистический жанр), разные голоса, которые не сливались в окончательном и бесспорном выводе. При всей интонационной уверенности речи, выдержанной в стиле вдохновенной проповеди, поставленные вопросы остались открытыми. В финале есть строки, которые прямо наводят читателя на эту мысль о том, что Пушкин «унес в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем». «Разгадываем», но еще не разгадали.

Да, в речи Достоевского проблема Пушкина не была решена, особенно для тех, кто знал хорошо его творчество. Последние ее строки звучали как призыв к самостоятельной работе мысли. Речь о Пушкине должна быть оценена как художественно - публицистическое произведение; печатая речь, Достоевский предупреждал слушателей и читателей, что подходит к Пушкину не как литературный критик. Противоречия в содержании, пафос страстного утверждения и отрицания, система вопросов и ответов, на которой основана ее композиция, своеобразный диалог между автором и воображаемым собеседником — все это напоминает в какой-то степени диалоги романов Достоевского, в частности «Братьев Карамазовых».

Есть еще одно соображение в пользу того, что речь близка к композиции ху-

⁹ Подразумевалась Вера Засулич.

¹⁰ Достоевский. Письма, т. IV, М., 1959, с. 144.

¹¹ «Литературное наследство», т. XV, с. 143—144.

дожественных произведений. Этот способ позволял Достоевскому домысливать биографии пушкинских героев: он рассуждал о том, что было бы, если бы в деревне Чайльд-Гарольд или сам Байрон указали бы Онегину на Татьяну. В другом месте утверждается, что если бы Татьяна овдовела, то и тогда она не пошла бы за Онегина. В черновых же набросках Достоевский простирает свою фантазию еще дальше. Так, он пишет о пушкинском герое-скитальце: «Укажите ему тогда системе Фурье, который еще тогда был неизвестен, и он с радостью бы поверил в нее и бросился бы работать для нее, и если б его сослали за это куда-нибудь, почел бы себя счастливым» (ПД). Все это, конечно, приемы не исторического и даже не критического анализа, а приемы художника, с его правом на свободную фантазию. Недаром в речи он заявляет по поводу своих построений: «Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться преувеличенными и фантастическими».

Тенденциозность трактовок Достоевским творчества Пушкина тем более очевидна, что он был поистине великолепным знатоком его творчества и литературы о нем. Его сочинения он знал не только по изданиям П. В. Анненкова и Я. А. Исакова, которые сохранились в его библиотеке, но и по нелегальным сборникам, проникавшим в Россию из-за границы. От библиотеки Достоевского до нас дошли лишь остатки (Анне Григорьевне после смерти мужа пришлось распродавать книги), но в ней есть берлинский сборник запрещенных стихов Пушкина (1864). Схема эволюции Пушкина, которой придерживался Достоевский в своей речи, находилась в полном противоречии с тем высоким уровнем, которого достигло изучение биографии и творчества Пушкина к 1880 году. Фонд пушкинианы включал в себя 11 статей Белинского (которым Достоевский, при всех несогласиях с ними, отдавал должное), связь Пушкина с освободительным движением была раскрыта Герценом, чьи сочинения считались нелегальными, но были достаточно известны в России, и Достоевский, конечно, с ними был знаком. Изучая историю создания речи, обнаруживаешь также знакомство Достоевского с биографическими работами Анненкова о Пушкине, выдающимися для своего времени. Наконец, главной гарантией против узкого и тенденциозного подхо-

да к идейно-творческой биографии Пушкина должны были быть все прежние замечательные оценки его Достоевским¹².

Но Достоевский мало считался исторической правдой. Ведь каждому, кто знал Пушкина, было понятно, что девиз «Смирись, гордый человек» полностью противоречит его мировоззрению, выраженному в призыве к декабристам в Сибирь: «Храните гордое терпенье, не пропадет ваш скорбный труд...». Для Пушкина понятие гордости означало стойкость, мужество, верность идеалам. Вспомним хотя бы строки, написанные Пушкиным в 1828 году в ожидании новых репрессий:

Сохраню ль к судьбе презренью,
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

Эту гордость Пушкин сумел сохранить до конца. Прежняя широта взглядов Достоевского на Пушкина и его разносторонние тонкие оценки пушкинского творчества отразились в речи до удивления мало. Из галереи образов, созданных гениальным поэтом, он избрал на этот раз образы Алеко, Онегина, Татьяны. Нет не только таких чуждых идее смирения образов, как Пугачев или герои «Песен западных славян», нет ни Сильвио, ни Кирджали. Нет даже упоминания о «Медном всаднике» или о стихотворении, равнозначном духовному завещанию, «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Упоминаются еще (но только упоминаются) произведения, доказывающие пушкинский дар перевоплощения в любую национальность, и, кроме них, «Свят Иван, как пить мы станем», и «Сказка о медведихе».

Подведем итоги. Замысел речи Достоевского о Пушкине был продиктован преимущественно идейно - политическими задачами, как это подтверждается письмом к Победоносцеву. На первых стадиях работы над речью освещались вопросы биографии и творчества Пушкина, безотносительно к предвзятой тенденции. В черновых набросках, а также в черновой редакции, противоречия своей концепции христианского смирения как типической черты русского народа, Достоевский выдвигал в

¹² Об этом см. в статье Д. Д. Благого «Пушкин и Достоевский», «Москва», 1971, № 11, с. 201—219.

качестве примеров русского национального характера образы Пугачева и других героев «Капитанской дочки». В дальнейшем же тщательно вытравила из текста многое из того, что противоречило основной тенденции или отвлекало внимание от нее.

Однако Глеб Успенский ошибался, утверждая, что в речи Достоевского есть нечто такое, что сводит весь ее смысл «на нуль». Это было бы так, если считать содержание речи однозначным. Но однозначности в ней нет, как нет и во всем творчестве Достоевского. Для понимания речи нужно не только знать историю работы над ее текстом, но также помнить о свойстве мышления Достоевского — сложном сплыве взаимоисключающих идей. Нужно помнить также, что эта речь, написанная со страстной убежденностью,

все-таки кончается признанием автора в том, что Пушкин остается загадкой. Даже в условиях 80-х годов нельзя рассматривать значение речи Достоевского в ее окончательном варианте как целиком отрицательное. Вопреки основной политической идее, она способствовала возникновению новой волны увлечения Пушкиным. Достоевский провозгласил Пушкина не только великим национальным, народным писателем, но и писателем всемирным. Эта идея высказывалась ранее Гоголем, на которого Достоевский в самом начале речи ссылается. Сама речь построена так, что тонкие и верные мысли сплошь и рядом затемняются фантастическими домыслами. И все же резонанс на выступление писателя, развернувшаяся затем борьба мнений способствовали мощному подъему интереса к Пушкину.





ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИРОДА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

РОЛЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ в жизни современного общества велика и неоспорима. Сегодня это утверждение кажется очевидным, но сама его бесспорность носит глубоко исторический характер, являясь следствием процесса бурного развития как самого телевидения, так и теоретических представлений о его социально-культурных функциях.

Потребность в информации — вот в самом широком смысле слова та общественная необходимость, которая вызвала к жизни телевидение и послужила исходным пунктом дальнейшей его эволюции. Можно утверждать, что телевидение пережило как бы два рождения. На первом этапе оно было лишь способом передачи на расстояние звука и изображения, лишь технической возможностью для выполнения определенных социальных функций. Но со временем оно все более стало переходить к самостоятельной творческой деятельности. Это, в свою очередь, стимулировало дальнейшее совершенствование технической базы вещания и, что самое главное, способствовало резкому повышению значения телевидения, усилению его влияния на самые широкие массы населения.

Разумеется, роль телевидения неодинакова в разных социальных системах, ибо она определяется тем, интересам какой общественной формации, какого класса оно служит. Непреложным фактом является классовый характер деятельности телевидения — мощного оружия в идеологической борьбе, действенного и эффективного средства пропаганды.

Информационно - пропагандистская работа — важная сторона деятельности

телевидения как средства массовой информации и пропаганды. Но наряду с общественно - политическим вещанием задачу коммунистического воспитания советского человека успешно выполняет и та часть телевизионных программ, в которой телевидение проявляет себя прежде всего как одна из областей социалистической художественной культуры.

«Печать, — писал К. Маркс, — относится к условиям жизни народа как раз ум, но не в меньшей степени и как чувство»¹.

Развивая эту мысль, К. Маркс подчеркивал, что журналист может изучать жизнь и выражать результаты своего исследования и с помощью методов, характерных для теоретического исследования, и в образной форме.

Закономерность, отмеченная К. Марксом в отношении прессы, получила дальнейшее подтверждение развитием телевидения, где возможность использования образных форм познания действительности еще более велика. Телевидение, в отличие от прессы, обладает изначальной способностью доносить до аудитории звукозрительные образы предметов и явлений в их чувственной конкретности, в их непосредственной жизненной достоверности. Эту свою способность телевидение использует для того, чтобы разговаривать с людьми «полным страсти языком самой жизни»². Вот почему оно может выступать в качестве не только информатора и пропагандиста, но и самобытного художника.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, с. 206.

² Там же, с. 206—207.

Телевизионное художественное творчество, функции эстетического воспитания, выполняемые телевидением, находятся в глубокой внутренней связи с его информационно - пропагандистской деятельностью, с присущими ему, как и партийно-советской печати, функциями «коллективного пропагандиста», «коллективного агитатора» и «коллективного организатора» (В. И. Ленин).

В данной связи нужно особо подчеркнуть тот факт, что в партийных документах телевидению отводится важная роль и как средству массовой информации и пропаганды, и в то же время как одной из областей художественного творчества — наряду с литературой, театром, кино, изобразительным искусством, музыкой.

Важнейшей предпосылкой сознательного построения нового общества, повышения активности масс, как неоднократно указывал В. И. Ленин, является самое широкое распространение знаний. Общественная необходимость в пропаганде знаний небывало возросла в эпоху научно-технической революции, когда наука превращается в непосредственную производительную силу. Телевидение, само появление которого есть одно из следствий научно-технической революции, во все возрастающей степени выполняет культурно-просветительную и учебно-образовательную миссию, адресуясь к самой широкой, самой массовой аудитории.

Таким образом, есть все основания говорить о специфическом единстве телевизионной программы, вобравшей в себя, если воспользоваться терминологией, получившей распространение в практике телевидения, общественно-политическое, художественное и учебно-образовательное (культурно-просветительное) вещание. Но к этому единству телевидение пришло не сразу, а в результате довольно длительной эволюции.

Трактовка понятий «информация», «публицистика» и «журналистика» получила развернутое и на наш взгляд, убедительное обоснование в современной научной литературе. Сошлемся, в частности, на точку зрения М. С. Черпахова, который предлагает понимать под журналистикой следующее: «Во-первых, определенную область общественно - политической, идеологической деятельности — литературной и организационно - массовой в периодической печати, на радио и телевидении. Во-вторых, совокупность периодических изданий. Самостоятельного рода литературы журналистика не со-

ставляет. Она трибуна трех родов литературы: науки, художественной литературы и публицистики»¹.

Это определение вполне может быть распространено и на телевидение — правда, с некоторыми поправками.

Среди публицистических (общественно-политических) программ выделяется особая группа жанров и форм — телевизионная информация. Однако подчеркнем, что телеинформация существует не отдельно от телепублицистики, а как ее составная часть. Именно такая трактовка соотношения информации и публицистики дает возможность правильно понять смысл известных слов В. И. Ленина: «Постоянное дело публицистов — писать историю современности»².

Можно без преувеличения сказать, что появление и развитие телевидения небывало расширило и обогатило возможности публицистики, возможности создания живой «истории современности». И объясняется это теми особыми качествами, которыми обладает телевидение как канал распространения информации и как новое выразительное средство.

Вопрос о телевизионной специфике возник сразу же, как только теоретики и критики обратились к изучению телевидения. Первоначально исследователи пытались выявить специфику телевидения преимущественно путем сопоставления его с «соседями» — главным образом кино, радио, театром. Более того, в чертах сходства с тем или иным видом искусства усматривалась основа самой телевизионной специфики. Для одних главным в телевидении была «сиюминутность», поэтому они сближали его как вид зрелища с театром или с эстрадой (В. Саппак). Другие авторы, обращавшие внимание прежде всего на экранный характер телевизионного зрелища, а не на его «сиюминутность», склонны были проводить аналогию между телевидением и кино³.

Позднее специфику телевидения стали искать не столько путем аналогии с другими видами творчества, сколько посредством выделения таких призна-

¹ М. С. Черпахов. Проблемы теории публицистики. М., «Мысль», 1973, с. 208.

² В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 9, с. 208.

³ Иногда эта аналогия простиралась так далеко, что приводила фактически к отрицанию специфики телевидения вообще. Такова была, в частности, точка зрения А. Вольфсона, изложенная им в статье «Малозкранный кино» («Искусство кино», 1961, № 5).

ков, наличие которых якобы только и может придать телевизионному произведению специфический характер. В этой связи говорилось и об обязательности затяжных крупных планов на телеэкране, и о том, что телефильм, в отличие от кинофильма, непременно должен имитировать прямую передачу, и о неприемлемости (или, напротив, необходимости) для телевидения динамичных, острых сюжетов и т. д.

Такой подход позволил сделать ряд интересных частных наблюдений относительно стиля изобразительного решения, особенностей драматургии произведений «малого экрана». Однако он вел к абсолютизации этих частных «примет», к возведению их в ранг нерушимого канона, а главное — он и в теории, и на практике ограничивал возможности развития телевизионного творчества жесткими рамками «специфики», искусственно отделяя телевидение от смежных областей творческой деятельности.

Упоминая обе эти тенденции поиска телевизионной специфики, современный исследователь Р. Копылова подчеркивает: «Если в первом случае, где, так сказать, торжествует аналогия, телевидение механически ставится в некий ряд известных величин, то во втором оно теряет естественную многогранность и сложность и превращается в абстракцию»¹.

Отметим здесь и еще одно методологически важное обстоятельство: нередко вопрос об особенностях телевизионного искусства решался с помощью аргументов, которые подтверждают лишь своеобразие телевизионного способа передачи информации. На наш взгляд, две эти стороны специфики телевидения: коммуникативная и эстетическая, хотя и взаимосвязаны, но все же далеко не тождественны и должны достаточно четко ограничиваться одна от другой.

С учетом всего сказанного обратимся к анализу проблем телевизионной специфики.

Основу телевизионного творчества во всех его видах, формах и жанрах составляет передача объектов реального мира в виде звукозрительных экранных образов.

Эти образы становятся мгновенным достоянием аудитории, потенциально сравнимой по своим масштабам с масштабами всего общества, что оказывается возможным благодаря тому качеству телевизионной коммуникации, которое называют вездесущностью. Не менее важно и то, что телевидение распрост-

раняет информацию «не традиционным» путем: не эпизодически, а систематически, каждодневно; не отдельными «прикосновениями» к постепенно накапливаемой аудитории, а системой произведений, объединенных в некую пространственно-временную форму... Телевидение — это программа»¹.

Все указанные свойства: документальность (звукозрительная достоверность), непосредственность («сиюминутность»), свойственная прямым передачам и всему процессу телевидения в целом, вездесущность, программность — характеризуют коммуникативную природу телевидения, то специфическое, что лежит в основе его использования как средства создания и канала распространения информации.

Различные исследователи по-разному определяют и группируют эти свойства. Так, А. Юровский и Р. Борецкий в книге «Основы телевизионной журналистики» выделяют три качества специфики телевидения: его синтетичность («способность использовать и зрительный образ, и слово, и монтаж, и музыку, и шумы»), одновременность и вездесущность»². В. Вильчек усматривает специфические черты телевидения в том, что оно — «первоисточник информации», то есть «может показывать событие раньше других зрелищ»; к этому он добавляет присущее телепередаче качество спонтанности, наличие домашнего экрана, «соседство документа и вымысла» и постоянство телеаудитории как следствия программности, камерности и безусловности телевизионного зрелища»³.

В научной литературе, в силу неустоявшейся терминологии и различия в подходе исследователей к проблеме, мы можем встретить и другие определения черт телевизионной специфики. Тем не менее перечисленные нами выше свойства в конечном счете охватывают многообразие существующих определений и в сумме своей могут служить характеристикой наиболее общих коммуникативных особенностей телевидения.

Лишь телевидение способно сочетать фотографически достоверную передачу изображения, звука и цвета в реальной временной протяженности, причем одновременно с ходом отображаемого события. Благодаря всему этому просмотр

¹ Р. Борецкий. Телевизионная программа. М., НМО КРТ, 1967, с. 5.

² А. Я. Юровский, Р. А. Борецкий. Основы телевизионной журналистики. М., Изд-во Московского университета, 1966, с. 104.

³ С. В. Вильчек. Контуры. Наблюдения о природе телеискусства. Ташкент, Изд-во «Фан», с. 34—39.

¹ Р. Копылова. Контакт. Заметки о феномене телевизионности. М., «Искусство», 1974, с. 4.

телепрограмм, происходящий к тому же, как правило, в обычной домашней обстановке, оказывается в немалой степени сродни присутствию человека в самой реальности.

Принцип телевидения — реальность в реальности. Полнее всего он осуществляется, когда мы смотрим передачу, которая строится не на предварительно отснятых кадрах, а на действии, непосредственно наблюдаемом нами от начала до конца. И мы справедливо требуем, чтобы телевизионные камеры показывали его в естественных ракурсах — так, как мы обычно видим реальную жизнь. Ибо телевидение в этом случае прежде всего и есть для нас, пользуясь расхожим выражением, «окно в мир», способ минимально опосредованного подключения к той реальности, которая находится в данный момент перед телевизионными камерами.

Рождаемый телепередачей эффект пространственно-исторической принадлежности человека к тому, что он видит на экране, — важнейшее завоевание телевидения. Причем этот эффект обнаруживается не только в формах «живого» вещания. Вся телевизионная программа, взятая в целом, — «сиюминутна», неповторима, прочно привязана к сегодняшнему дню и отражает его суть, самое главное в нем. Можно повторить ту или иную передачу, но нельзя поменять местами сегодняшнюю телепрограмму и программу недельной давности, как нельзя поменять местами номера газеты, датированные разными числами. Невозможна такая замена не только во времени, но и в пространстве — в отношении программ разных студий (в отличие, скажем, от репертуара кинотеатров, который нередко совпадает в разных городах).

Все это — проявления пространственно-временной безусловности телевизионной программы. Иными словами, телевидение и зритель находятся в одном и том же — подлинном — времени, в контексте одних и тех же событий.

В силу этого достоинством телевизионной программы должно становиться лишь то, что обладает высокой степенью актуальности, лишь такое осмысление проблем современности и прошлого, которое продиктовано сегодняшним интересом к этим проблемам, соответствует нашему сегодняшнему взгляду на них. Именно опережающее отражение действительности и рассмотрение прошлого под знаком актуальных проблем современности прежде всего формируют практические цели телевизионного творчества.

Так оказываются взаимосвязанными и взаимообусловленными коммуникативные особенности телевидения как сред-

ства передачи информации и то содержание, которое доносится до массовой аудитории с помощью этого средства.

И здесь возникает принципиально важный вопрос о степени влияния коммуникативных свойств телевидения на документально-публицистические и художественно-игровые программы. В связи с этим вопросом обратимся к суждениям Р. Клер, высказанным еще в 1950 году, но сохраняющим немалый интерес и поныне.

«Телевидение, — писал Р. Клер в своем эссе «Телевидение и кино» — может показывать на экране, с одной стороны, сцены, зафиксированные непосредственно (то есть в тот момент, когда вы их видите), и, с другой стороны, картины, зрелища, заранее снятые на пленку. «Прямое» телевидение уже оставило позади обыкновенное кино, если речь идет о показе текущих событий... в области «чистой» документальности телевидение уже одержало верх.

Но когда речь идет о «сочиненном» зрелище, то есть о драматическом произведении, написанном каким-то автором и сыгранном актерами, применение «прямого» телевидения наталкивается на некоторые ограничения. Здесь актуальность события не играет роли. Если мне показывают по телевидению «Гамлета», мне безразлично, играют ли сцену с могильщиками в двадцати километрах от меня в настоящий момент (прямо телевидение) или играли где-то двадцать дней назад (телевизионный фильм)...»¹.

Таким образом, телевидение в области прямого показа событий оказалось попросту вне конкуренции. Следует добавить, что «обыкновенное кино», оставленное позади телевидением, с течением времени вернуло себе и даже расширило утраченные ранее позиции — но уже на телеэкране. Телепрограмма, вобравшая в себя значительную часть «обыкновенного кино», сделала подвижной границу между двумя разновидностями экранного творчества — кинематографической и телевизионной². Но и по сей день возможность синхронного показа составляет одну из самых сильных сторон телевидения как средства информации.

¹ Р. Клер. Размышления о киноискусстве. М., «Искусство», 1958, с. 181—182.

² Сам Р. Клер в более поздних своих высказываниях отметил это обстоятельство: «Абсолютно немисливо полностью противопоставить друг другу телевидение и кино. Первое является продолжением второго, но таким продолжением, границ которого не заметно» (см. бюллетень «Телевидение и радиовещание за рубежом», 1966, № 1—2, с. 63—64).

В отличие от многих более поздних авторов, Р. Клер четко разграничивает вопросы коммуникативной и эстетической специфики телевидения и резко выступает против подмены одного вопроса другим. Но, по его мнению, свойства телевидения-информатора безразличны для телевидения-художника, а точнее — не ведут к формированию новых, специфических телевизионных художественных закономерностей.

Р. Клер оценивает возможность существования художественной специфики телевидения, исходя лишь из фактора «сиюминутности». В действительности же, как подтвердила более поздняя практика видеозаписи программ, для зрителей чаще всего важна не сама по себе одновременность события и его отображения на телеэкране, но непрерывность показа, пусть даже сдвинутого во времени. При соблюдении этого условия большинство документальных программ, не говоря уж об игровых, сохраняют «эффект присутствия», который до появления технической возможности целиком (или с минимальными купюрами) передвигать «живую» передачу во времени казался исключительной привилегией прямого телевидения. А непрерывность действия, опирающаяся на непрерывность фиксации, — это уже не просто технический, но также и определенный эстетический принцип, связанный с телевизионным «эффектом присутствия».

Правда, тут необходимо сделать одну существенную оговорку. Как известно, произведение искусства — всегда художественная модель, а не копия действительности. Оно не повторяет, не дублирует реальную жизнь, а создает ее образ, который мы в процессе художественного восприятия условно, силой воображения уподобляем самой действительности. В этом смысле «эффект присутствия» неотделим от восприятия любого произведения искусства — но только не буквальный, а иллюзорный. Он необходим и в телевидении для того, чтобы мы поверили художественной условности «сочиненного» действия.

Между тем взгляд на телевидение в целом как на новый вид искусства, высказывался в прошлом¹ и время от времени дает о себе знать до сих пор. Те, кто так думают, ссылаются на некие таинственные силы телевизионной техники, которые якобы превращают реальные события в явления искусства.

Безусловно, бывают случаи, когда

«чистой воды» документальные передачи вызывают истинное эстетическое наслаждение. Больше того, эстетические чувства в той или иной мере пробуждает у зрителей почти каждая передача. Ведь действительность отображается на телеэкране в наглядной, чувственно конкретной форме, а это означает, что телевизионная информация строится не только рационально, но и эмоционально, по законам не только логики, но и красоты. Однако наличие эстетического элемента в телевизионном интервью или репортаже все же не превращает их в произведение искусства, как не являются произведениями искусства газетный репортаж или интервью (которые тоже обладают определенными эстетическими качествами, в той или иной мере опираются на эстетику слова).

Очевидно, следует различать в телевидении сферу эстетического и сферу художественного (то есть собственно явлений искусства), причем первая гораздо шире второй¹. В то же время между ними существует достаточно обширная пограничная область, которая и привлекает наиболее пристальное внимание ряда исследователей художественно-эстетической специфики телевидения.

И здесь мы должны напомнить знаменитые слова С. Эйзенштейна, относящиеся еще к 1946 году. Он писал тогда о «киномаге телевидения», который «быстрый, как бросок глаза или вспышка мысли, будет, жонглируя размерами объективов и точками кинокамер, прямо и непосредственно пересылать миллионам слушателей и зрителей свою художественную интерпретацию события в неповторимый момент самого свершения его, в момент первой и бесконечно волнующей встречи с ним»².

Подобно Р. Клеру, С. Эйзенштейн еще на заре существования телевидения в полной мере оценил всю силу его коммуникативных возможностей. Но, в отличие от выдающегося французского режиссера, он не противопоставил их возможностям телевидения — художника, а увидел в особом характере телевизионного посредничества между событием и зрительской аудиторией предпосылку формирования нового искусства, новых форм «лицедейства». Иначе говоря, из факта коммуникативной

¹ Разграничение этих двух понятий находят все более широкое признание в современной эстетико-искусствоведческой литературе. См. в частности: Г. Н. Поспелов: Эстетическое и художественное. Изд-во Московского университета, 1965.

² С. Эйзенштейн. Избранные статьи. М., «Искусство», 1956, с. 42.

довизны телевидения С. Эйзенштейн сделал относительно его художественного своеобразия выводы, противоположные тем, к которым несколькими годами позже пришел Р. Клер.

Высказанная С. Эйзенштейном мысль была затем развита и продолжена некоторыми исследователями, и прежде всего В. Саппаком.

Рассматривая коммуникативные особенности телевидения как отправную точку для истолкования его эстетической природы, В. Саппак утверждал: «Эстетическая природа первоэлемента телевидения — контакт двоих через экран»¹. Он первым обратил внимание на эту важную закономерность и, опираясь на нее, предложил свою гипотезу будущего телевизионного искусства. До сих пор плодотворной и ценной остается предпринятая В. Саппаком попытка найти связь между спецификой общения телевидения со своей аудиторией, телевизионным «рентгеном характера» (то есть исследованием на телеэкране нравственных свойств личности) и своеобразием телевизионной эстетики. Он стремился всесторонне обосновать ту мысль, что «эстетический ряд смыкается на телевидении с рядом моральным, и в этом — одно из чрезвычайно интересных (еще далеко не исследованных критикой) свойств телевидения»².

Но, тонко уловив то главное, что отличает телевидение от смежных с ним областей творчества, В. Саппак тем не менее далеко не всегда верно определял тенденции развития телевизионного искусства. Настаивая на импровизационности действия на телеэкране, он считал противоречащими специфике телевидения такие формы, которые ограничивают импровизационное начало. Отсюда явная недооценка роли и значения литературной, сценарной основы телевизионного творчества и чрезмерный акцент на фиксации «жизни врасплох». В результате — противопоставление «драматургу», литератору «оператору-режиссеру», которому, как полагал В. Саппак, предстоит стать «основоположником» телевизионного искусства. Ход развития телевидения, как мы знаем, не подтвердил этого прогноза и этого противопоставления различных телевизионных профессий»³.

Столь же серьезной ошибкой В. Саппака было и мнение о «нетелевизионности» любых форм передач, снятых на пленку⁴. Фиксированные программы в то время заняли доминирующее положение на телеэкране, отнюдь не «отменив» специфики телевидения, но лишь расширив представление о ней.

И тем не менее, при всех неточностях и противоречиях, талантливый книга В. Саппака и сегодня в большой степени сохраняет остроту и актуальность.

Спорной, но, несмотря на свою дискуссионность, заслуживающей серьезного внимания является концепция «лирико-публицистической» природы телевизионного искусства, выдвинутая В. Вильчеком. Как и В. Саппак (и не без влияния его идей), В. Вильчек ищет «контуры» телевизионного искусства в особом «характере контакта со зрителем», побуждающем телевизионного автора «воспроизводить на экране путь от реальности к образу», сосредоточиться на «участке перехода реальности в художественную форму», демонстрировать телеаудитории сам процесс «преображения реальности мыслью»². Черты телеискусства В. Вильчек склонен усматривать именно в таких экранных формах, которые еще не превратились в произведения искусства, а только становятся ими на глазах у зрителей.

При всей парадоксальности такой точки зрения она помогает глубже осознать одну из вполне реальных (а для телевидения, быть может, наиболее значимых) тенденций современного искусства — тенденцию к сближению или даже слиянию художественного и документального, к расширению традиционных рамок искусства.

Вместе с тем творчество, основанное на художественном вымысле, действие «сочиненное», а не «сочиняемое» на глазах у аудитории, конечно же, сохраняет первостепенное значение в современном искусстве в целом и на телеэкране в частности. Вот почему явно осязательное в концепции В. Вильчека стремление ограничить область телеискусства одним лишь «лирико-публицистическим» творчеством, исключить из нее собственно теледраму (игровой телефильм и телеспектакль) представляется

¹ В. Саппак. Телевидение и мы. М., «Искусство», 1963, с. 155.

² Там же, с. 122.

³ Аргументированную критику представлений об «абсолютной импровизационности» телевидения см. в статье Р. Борецкого «Живая жизнь и «прямое телевидение» («Искусство кино», 1964, № 5).

¹ «Какой бы на нашем домашнем экране ни шел фильм, специально снятый или не специально, телевидение... складывает свое оружие», — полагал В. Саппак («Телевидение и мы», с. 89).

² См.: В. Вильчек. Контуры, с. 64—66.

неоправданным, противоречит живой логике вещания¹.

Нетрудно заметить, что и В. Саппак, и В. Вильчек, как и ряд других телевизионных критиков и теоретиков, в поисках художественного своеобразия телевидения обращаются прежде всего к таким компонентам телевизионной программы, которые весьма далеки от традиционных форм искусства и сама принадлежность которых к искусству зачастую остается крайне дискуссионной. Между тем, если исходить из реальной структуры литературно-драматического вещания, то окажется, что в телепрограмме преобладают передачи, имеющие достаточно много общего с традиционным художественным творчеством (причем мы имеем в виду не показ по телевидению произведений других видов искусства, а собственно телевизионную продукцию).

Бесспорно, телевидение не дублирует ни кинематограф, ни театр, ни эстраду, но оно и не ограничено от них так резко, как можно заключить, исходя из некоторых теорий специфики телевизионного искусства. Уникальные художественные формы, встречающиеся на телеэкране, уникальны и для самого те-

¹ На это справедливо обращали внимание некоторые авторы (А. Наймушин, М. Микрюков), критиковавшие концепцию В. Вильчека.

левидения. Вот почему, как с полным основанием замечают авторы коллективного исследования «Жанры телевидения», «предметом анализа должно быть, строго говоря, не искусство телевидения, но искусство на телевидении как продолжение, видоизменение тех областей художественного творчества, которые сложились и существуют вне сферы телевидения»¹.

Подчеркнем, что «искусство на телевидении» включает в себя широчайший диапазон жанров и форм, начиная с репродуктивных и кончая такими, в которых достаточно интенсивно проявляются собственные художественные возможности телевизионного творчества. И только в единстве этого многообразия, сохраняя и расширяя его, телевидение способно сполна внести свой вклад в развитие современной художественной культуры.

Таковы основные, наиболее характерные черты коммуникативной и эстетической природы телевидения, наиболее принципиальные его особенности как средства информации и как художественного, выразительного средства. Их анализ дает возможность приблизиться к пониманию закономерностей эволюции при рассмотрении живой практики вещания.

¹ «Жанры телевидения». М., НМО КРТ, 1967, с. 23.



Лейла ЭРАДЗЕ

ПОКОРЯЮЩАЯ СТИХИЯ

ИМЯ Самеда Вургунა всегда находит горячий отклик в сердцах миллионов его почитателей, покоренных стихией его поэзии. Поэт прожил короткую жизнь, но успел завоевать огромное и всеобщее признание. Жизнь его оборвалась на подступах к тому возрасту, который принято считать зрелостью. Ему было отпущено жизнью всего пятьдесят лет, а это ведь очень малый срок для художника, творца.

Вся поэзия Самеда Вургунა это вырвавшаяся из сердца героическая песня. Уже охваченный тяжелым недугом, в последние дни жизни поэт писал с уверенностью и надеждой мужественного человека:

Завершу я большую книгу жизни...
Только у пера моего пусть сохранится
сила и мощь.

Я не тороплюсь,
Я никуда не тороплюсь!..

(Подстрочный перевод)

В годы самых тяжелых испытаний для нашей Родины на антифашистском митинге закавказских народов в 1942 году Самед Вургун произнес слова, заставившие затрепетать самые живые струны души — слова о любви к Отчизне. Его выступление было напечатано на трех языках в газете, передано по радио. Не оставив равнодушных, оно дошло до сердца каждого истинного патриота. Самед Вургун напомнил о стойкости и единодушии, проявленных предками наших народов, отстаивавших в прошлом Закавказье от иноземных захватчиков, и с веками крепнувшей дружбе между ними:

«Сегодня на чашу весов истории вновь положена честь и независимость наших народов: перед нами стоит наш общий враг — немецкий фашизм. Воскресим в нашей памяти бессмертные образы великих предков Тариэла, Давида Сасунского, Бабека и Кероглы. Пусть бездонные ущелья неприступных Кавказских гор станут могилой для немецких оккупантов...»¹.

ЕГО ПОЭЗИИ

Поэт от имени своих собратьев давал клятву матери родине, что над ее свободными и цветущими городами и степными даями символом вечной весны будут сверкать утреннее солнце и созвездия южной ночи.

«Мы клянемся материнским молоком, вскормившим нас, что своей грудью заслоним от фашистских офицеров и солдат наших детей и незапятнанную честь женщин и девушек гордого Кавказа, — говорил Самед Вургун.

— Мы даем клятву нашему седовластому Кавказу, что на вершинах его неприступных гор вечно и гордо будет реять алое знамя Ленина»².

В своем творчестве С. Вургун, как истинный советский поэт, всегда уделял большое внимание теме дружбы народов. На заре своей поэтической деятельности он восторженно воспел Грузию, мечты и чаяния грузинского народа. Этой теме он посвятил стихи «Река Мтквари», «Елдаш, ингер, амханаго» и много других.

Из его произведений последующего периода ясно видно, что эти мотивы в творчестве поэта носят отнюдь не случайный характер, они органически влились во всю его литературную деятельность.

Пьеса «Вагиф» занимает в поэтическом наследии Самеда Вургунá особое место. Она посвящена судьбе интереснейшей исторической фигуры — из-

¹ Газета «Заря Востока», 1942, № 200.

² Там же.

известного поэта и самоотверженного государственного деятеля XVIII века Вагифа. В этой драме поэт создал впечатляющие сцены, отображающие дружбу грузинского, армянского и азербайджанского народов. Борьба этих трех народов против общего врага Ага Магомед-хана нашла в пьесе «Вагиф» своеобразное выражение.

Вот что говорил сам Самед Вургун по этому поводу:

«В пьесе показана объединенная борьба кавказских народов — азербайджанцев, армян, грузин, курдов против общего врага шаха Каджара. Этим я хочу показать, что братство и дружба наших народов имеют свои многовековые традиции»¹.

Самед Вургун проявляет большую точность в отношении исторических фактов. Каждое действие не только соответствует исторической действительности, но и тесно увязано с сегодняшним днем.

«Мы должны осмыслить нашу историю, но историю надо осмысливать с точки зрения сегодняшнего дня. Кто не любит сегодняшний день, тот не сможет понять прогрессивную роль «Вагифа»². — так поэт определяет свою точку зрения.

Вагиф был большим патриотом своего народа. Он как прозорливый государственный деятель придавал большое значение дружбе народов Закавказья и в борьбе за независимость возлагал большие надежды на силу этой дружбы. Вагиф всем своим существом был связан с народом и в нем черпал творческую силу и вдохновение.

Представители разных народов — Видад, Вагиф, Элар, курд Муса, армянин Аршак, Шалико и Тамара объединены одной целью и представляют собой необоримую силу. И этим своим единодушием они наносят поражение крошечнице Ага Магомед-хану.

С. Вургун обогатил азербайджанскую литературу исторической тематикой. И вторая его пьеса «Ханлар» также построена на историческом материале. И здесь автор с большим художественным мастерством вновь воспеваает дружбу закавказских народов и показывает их общую борьбу против старого мира, которую возглавляют коммунисты.

До конца своей жизни Самед Вургун тесно был связан с грузинскими поэтами, литераторами. Еще в 1937 году он вместе с М. Рагимом и С. Рустамом с большой любовью перевел поэму

Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Это был первый перевод поэмы на азербайджанский язык, ставленный на суд читателя существовавший до этого перевод Ахмеда Джавада исчез после гибели автора. Значительно позже он был обнаружен исследователями, и читатель получил возможность познакомиться с ним только сейчас).

В 1937 году на юбилейные руставелевские торжества в составе делегации азербайджанских писателей приехал и Самед Вургун. Он выступил на юбилейном пленуме от имени азербайджанских писателей и поздравил с праздником грузинский народ, подаривший миру великого Руставели. Выступление поэта было напечатано в газете «Заря Востока» под названием «Сила Руставели в его народности». Самед Вургун с гордостью заявлял: «Я счастлив, что сегодня с этой трибуны выступаю и говорю словами моего сердца не только как поэт Самед Вургун, но и как один из переводчиков Руставели на азербайджанский язык»¹.

Затем С. Вургун говорит о великом значении Руставели для истории мировой литературы и рассказывает о неизгладимом впечатлении, которое произвела на него работа над переводом поэмы. «Работа над переводом дала мне не только духовное удовлетворение; в этом художественном произведении есть что-то более мощное, что не сразу становится понятным, над чем надо много думать, много работать»².

Переводчик был захвачен актуальными проблемами поэмы, ее народной мудростью и простотой. Вот почему со всей ответственностью он говорил: «Могущество этой поэмы сказывается в ее подлинной народности, мудрой, гениальной простоте». Процесс работы превратился для него в большое эстетическое наслаждение, и перевод выполнен так, что ясно выражены вызванные исполинской фигурой самого поэта-переводчика огромные творческие поиски и достижения. Самед Вургун писал: «Когда я работал над переводом, мне было больно отрываться от работы, до того она захватывала все мои чувства, все мои внутренние силы»³.

В архиве Самеда Вургунга, который хранится в республиканском фонде рукописей Азербайджанской ССР, встречается много материалов, указывающих на связь Самеда Вургунга с Грузией, в частности с грузинскими поэта-

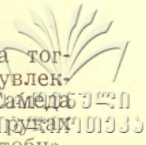
¹ Из речи С. Вургунга на юбилейном торжестве Руставели 31/XII—1937 г., газета «Заря Востока».

² Там же.

³ Там же.

¹ Архив С. Вургунга. — 46, 1—18/93, с. 2.

² Там же.



ми. Среди них найденное нами и до сих пор не опубликованное стихотворение «Руставели»¹.

Это стихотворение, представляющее собой арабскую рукопись, не вошло ни в одно издание поэта. С. Вургун нашел соответствующую руставелевскому шаири форму азербайджанского стиха — «хеджа». Эта шестнадцатисложная строка из всех размеров азербайджанского стиха наиболее близка руставелевскому шаири.

Можно предположить, что это стихотворение было написано в дни руставелевского юбилея, и нам думается, что автор прочел его во время одного из своих выступлений. Остается впечатление незавершенности этого стихотворения, наверное, поэт собирался вернуться к работе над ним и потому не напечатал его. Но даже в таком виде стихотворение демонстрирует идейно-художественные позиции С. Вургун и проливает свет на его отношение к Шота Руставели и его бессмертной поэме.

В стихотворении говорится, что на юбилей Руставели, чтобы возвеличить его гений, прибыли потомки Хагани и Низами и произнесли на этом всенародном торжестве идущие от сердца слова восторга. Затем автор как бы листает страницы нашего бурного исторического прошлого, обнаруживая там корни сегодняшних дружеских взаимоотношений наших народов.

С. Вургун как крупнейший мастер слова и теоретик всегда придавал большое значение романтическому направлению в социалистическом реализме. Поэт отмечал, что поэмы Низами («Лейла и Меджнун» и «Хосров и Ширин») и «Вепхистгаосани» Руставели завоевали такую популярность потому, что в этих поэмах «действительность жизни выражена романтической формой».

Это свое известное изречение С. Вургун использовал в докладе «Вокруг поэзии», произнесенном на Втором съезде советских писателей.

Вообще, когда С. Вургун говорил об использовании классических традиций в поэзии, о проблемах обогащения романтическими чертами реалистического направления, он всегда приводил в пример творчество Шота Руставели.

Последний визит Самеда Вургун в Грузию состоялся в октябре 1955 года. Он приехал на юбилей по случаю 250-летия великого грузинского поэта Давида Гурамишвили. В фойе Малого зала театра имени Руставели рядом с Самедом Вургунем находился поэт Иосиф Нонешвили, который представил

меня ему. Я только окончила тогда факультет востоковедения и увлеклась переводом стихотворений Самеда Вургун на грузинский язык. Вручили у меня был свежий номер «Мнатоби», в котором был напечатан мой перевод большого стихотворения С. Вургун «Муганская девушка». Трудно себе представить, что для меня значила эта встреча.

Самед был с супругой. Обычно веселый и оживленный собеседник, он показался мне в тот день очень грустным.

Сейчас, когда я вспоминаю, как он тогда выглядел, невольно напрашивается мысль о плохом состоянии здоровья поэта, ведь через несколько месяцев его не стало. Тогда же его состояние все объясняли переутомлением. Поэт много работал, будто торопился осуществить все свои замыслы. И потому усталость от бессонных ночей постоянно сопутствовала ему.

Самед Вургун как-то сразу оживился при нашем знакомстве, пожал мне руку и, доброжелательно улыбувшись, по-азербайджански спросил меня:

— Почему вы решили меня переводить?

Я сказала, что еще в студенческие годы познакомилась с его творчеством, что, изучая историю азербайджанской литературы, мы хорошо знали его произведения. Я продекламировала первые строки переведенного стихотворения на его родном языке:

**В цветах сказочно видна степь,
И Кура, колыхаясь, к морю идет,
Хоры звезд на небе зажглись,
Над Сальянской степью потускнели
сумерки.**

**И шелестят тростники, будто
Их шелестом трепещет безмолвие.
Узкая тропка к Кура идет
И ряд белых, белых домов...¹**

(Подстрочный перевод с грузинского)

Лицо поэта расцвело от удовольствия, и он попросил меня прочесть то же место по-грузински. Когда я закончила, он сказал: — Я думаю, что перевод должен быть хорошим. Молодец, девушка! Нет, не девушка, а Лейла-кызы. Кто тебе дал такое красивое наше имя? У нас нет поэта, который не вспомнил бы в своих стихах это имя.

— Этим именем и у нас часто называют девочек. Представьте себе, и у меня есть подобное стихотворение! — сказал Иосиф Нонешвили, — адресовано оно подруге моей юности.

К нашему разговору присоединились Константин Симонов, Александр Межиров и Михаил Луконин.

¹ Архив С. Вургун — 46 1—80/15—80.

¹ «Мнатоби», 1955, № 10.

— Кроме Самеда, вы кого-нибудь еще переводили? — спросил меня Си-монов.

— Назыма Хикмета, — робко отве-тила я.

— Хикмета и я переводил, — подбо-дил меня Луконин.

В программу юбилейных торжеств тогда входила и поездка на родину Д. Гурамишвили — в Сагурамо. Правда, там не осталось никаких следов жизни выдающегося грузинского поэта. В период турецких нашествий Тбилиси и его окрестности, в частности и Сагу-рамо, были разорены и опустошены. Эти набеги были страшнейшим бедст-вием для всего Закавказья.

Сборник произведений Давида Гура-мишвили «Давитиани» полностью отра-жает те жесточайшие для истории Гру-зии времена. «Давитиани», — говорит Георгий Леонидзе, — настоящая энци-клопедия жизни того времени.

Возможно, потому Самед Вургун так близко принял к сердцу поэзию Дави-да Гурамишвили и с таким восторгом переводил его «Давитиани», что это была боль и его родного народа в нача-ле XVIII века.

С. Вургун выступил в Сагурамо с речью. «Наша социалистическая поэ-зия, — сказал он, заканчивая свое слово, — многим обязана таким ве-ликим сынам грузинского народа, как Шота Руставели, Давид Гурамишвили, Николоз Бараташвили, на гениальных творениях которых воспитываются но-вые литературные силы»¹.

Торжества в Сагурамо широко раз-двинули рамки грузинского националь-ного праздника и превратились в заме-чательный праздник великой дружбы народов Советского Союза.

Самед Вургун признавался, что его связывало с выдающимся грузинским поэтом Георгием Леонидзе «большое творческое родство». А в результате их личных взаимоотношений эта бли-зость стала еще более глубокой.

С. Вургун очень высоко ценил Геор-гия Леонидзе, всегда с восхищением говорил о его творчестве. Свое отноше-ние к грузинской поэзии С. Вургун высказал еще на Втором съезде совет-ских писателей: «У каждого народа свой исторический путь, своеобразное развитие жизни, традиции, обычаи, ве-ками сформировавшийся язык и фор-мы мышления. Только на националь-ной почве может сформироваться боль-шой мастер слова. Георгий Леонидзе — поэт, выросший именно на такой поч-ве. Он, так же как Михаил Исаков-

ский и Сулейман Рустам, связан с на-циональной основой, на которой произ-росли шедевры их творчества»².

Только по личной переписке между двух поэтов можно судить об огромном взаимном интересе к творчеству друг друга. Одно из таких писем еще при жизни Георгия Леонидзе в 1964 году опубликовала азербайджанская иссле-довательница Д. Алиева. В своих ком-ментариях она пишет: «Перед нами одно из писем С. Вургуну, адресо-ванное народному поэту Грузии Г. Ле-онидзе, переданное мне лично во время научной сессии АН Грузинской ССР, посвященной 40-летию Грузии»¹.

Как видно из письма, в 1951 году Самед Вургун прочитал в первом номе-ре журнала «Дружба народов» поэму Георгия Леонидзе «Портохала» и под впечатлением от чтения поэмы написал ее автору письмо.

Портохала — древнее грузинское жен-ское имя, которое мы встречаем толь-ко в памятниках XI века. Поэт обобщил это имя, обратив в символ образа матери родины. Восхищенный поэмой Самед Вургун пишет другу-поэту: «Трудно мне передать в одном письме, какое огромное удовольствие я полу-чил от твоей поэмы «Портохала»... Ты ее назвал лирической поэмой. Оно так и есть. Но эту прекрасную лириче-скую поэму я считаю целой эпопеей о том могучем грузинском народе, кото-рый жил веками, трудился и страдал, а в конечном счете завоевал себе бес-смертие...»².

Чтение этой поэмы растревожило множество аналогий в памяти Самеда Вургуну, связанных с собственной, по-стоянно жившей в его творчестве тем-ой. Ведь и Самед Вургун посвятил горькой судьбе родной матери Махбуб ханум не одно стихотворение и сделал образ матери сквозной темой своего творчества.

Такое внимание к работе друга, ин-терес к его творческим удачам и ус-пехам были для Самеда Вургуну посто-янными. Чем ближе он знакомился с поэтическим арсеналом друга, тем боль-ше убеждался в своем «поэтическом родстве» с Георгием Леонидзе: «Я всегда любил твою поэзию за ее муд-рость и афористичность (может быть, в этом есть у нас творческое родство), но после того как я прочел твою поэ-му «Портохала», я стал еще сильнее любить твою поэзию»³.

¹ «Вопросы азербайджанской литерату-ры» (на азербайджанском языке), Баку, 1964, с. 343.

² Там же.

³ «Вопросы азербайджанской литерату-ры», Баку, 1964.

¹ Газета «Заря Востока», 11/XI 1955 г.

Чувства были взаимными. В последние месяцы жизни, когда Самед Вургун лежал в московской больнице, Георгий Леонидзе пришел проведать друга, очарованный его «ароматной и своеобразной поэзией», и послал ему письмо. Его мы нашли в архиве Самеда Вургун. Письмо это можно считать одним из лучших свидетельств большой дружбы этих двух поэтов:

«Милый Самед,

Мой лучший друг и брат!

Весьма опечален, во-первых, тем, что ты лежишь в больнице, а не сидишь с нами в тесном кругу друзей в гостинице «Москва», и еще тем, что меня не пропустили к тебе.

Очень хотел видеть тебя.

Что с тобой? Разве тигр Ленкорани может болеть? Но ничего, в жизни все бывает, иногда и тигры болеют. Мужайся! Все пройдет, и все будет благополучно, и твоя «песенная грудь» вновь запоет с еще большей силой!

Итак, друг, надеюсь, скоро одолеешь больничную кровать, и развернем ковер веселья.

— Эй, встань и загорись и жги!

Целую много раз, обнимаю крепко, дорогой друг и брат, мой любимый Самед!

Твой старый друг Гогла Леонидзе»¹.

В конце 1956 года, когда Самед Вургун уже не было в живых, Георгий Леонидзе передал мне сборник стихов С. Вургун, изданный на азербайджанском языке и, указывая на портрет, сказал:

—Надеюсь, ты знаешь кто это? Возьмишь, дочка, за дело и переведи эти стихи. Хорошо переведи! Я добился, что их включили в план издательства «Сабчота Сакартвело». Действуй!

Такое доверие было для меня величайшей радостью. В 1958 году действительно вышел на грузинском языке первый сборник стихов Самеда Вургун, редактором которого был сам Георгий Леонидзе.

Всей своей поэзией, гражданственностью, патриотизмом, человеческой простотой и сердечностью Самед Вургун привлекал к себе и буквально покорял всех вокруг. Вся его жизнь — светлый пример того, каким должен быть человек, поэт, гражданин. Своим творчеством Самед Вургун продолжал традиции, завещанные классиками нашей поэзии. Потому и писал Георгий Леонидзе в стихотворении «Поэтам Азербайджана:

Будем петь, у нас ведь сладко пели
Великий Низами, великий Руставели.

¹ Архив С. Вургун, — 46 № Г — 49/843.

(Подстрочный перевод)



ПОВЕСТЬ О РЫЦАРЕ ИЗ ХВАРБЕТИ

1

О ГЕНЕРАЛ - ПОЛКОВНИКЕ
 Константине Леселидзе Леонид
 Ильич Брежнев сказал так:

«Мне довелось воевать вместе с одним из талантливых советских полководцев — командующим 18-й армией генерал-полковником К. Н. Леселидзе. На фронте люди раскрываются быстро, там сразу узнаешь, кто чего стоит. Константин Леселидзе запомнился мне как олицетворение лучших национальных черт грузинского народа. Это был жизненный и храбрый, суровый к врагам и щедрый к друзьям, человек чести, человек слова, человек острого ума и горячего сердца».

Эти слова Генерального секретаря ЦК КПСС автор не случайно вынес на первую страницу своей книги. В них — пафос всей жизни Константина Леселидзе. Опытный и страстный публицист, Михаил Давиташвили, используя многочисленные примеры, факты, штрихи, детали, вылепил правдивый и точный образ полководца — жизнерадостного и храброго, человека горячего сердца. День за днем ведет нас автор по жизни Константина Леселидзе, и, знакомясь с ней, мы проникаемся все большим уважением к его полководческому таланту и доверяем к его действиям. Но М. Давиташвили не довольствуется этим. Он раскрывает читателю чувства и помыслы героя, так сказать, его «движения души», и это позволяет нам понять, что вело его, на какой благодатной почве формировался и цементировался характер героя.

М. Давиташвили начинает издали. Начало века, в гурийских деревнях пылают пожары, горит дом Николоза Леселидзе, подожженный карателями. А Николоз отмеривает версты от родного села до ссылки. Трое малолетних голодающих детей на руках у жены Николоза Нино. И среди них Котэ — тихий и добрый мальчик, старающийся всем прийти на помощь.

Жизненная школа готовила мальчика к революционной борьбе, закаляла его волю. Еще до установления Советской власти в Грузии он вступил в подпольную комсомольскую организацию. Уже в

те далекие годы Котэ принял эстафету отца.

Константину не было и восемнадцати, когда он ушел добровольцем в Красную Армию, поступил в военную школу и окончил ее с отличием. Когда молодому красному командиру Леселидзе исполнилось 28 лет, он стал командиром полка. Вскоре ему доверили дивизию...

Обо всем этом мы узнаем из повести М. Давиташвили, ярко, впечатляюще рассказывающей о жизни этого незаурядного человека, рыцаря из Хварбети, чье мужество вошло в легенду...

2

Испытания — трудные и кровавые — легли на плечи Константина Леселидзе близ западной границы страны в тот озаренный пламенем предрассветный июньский час 41-го, когда небо Белоруссии почернело от туч гитлеровских стервятников и вражеские бомбы коржили белорусскую землю. Леселидзе в ту пору уже был полковником, начальником артиллерии корпуса, мастером огневых дел. Глубокие военно-теоретические знания и большой практический опыт отличали его.

Много страниц посвятил автор фронтовым будням Константина Леселидзе и в них раскрыл читателям самые неожиданные грани характера своего героя. Пересказать их — значит, пересказать всю книгу. Это невозможно, да и незачем. Позволю себе привести лишь один эпизод.

Леселидзе умело руководил всей системой противотанковой обороны, его артиллеристы мастерски отбивали атаки превосходящих сил врага, превратили подступы к Минску в кладбище фашистских танков. Но вот что произошло во время очередной яростной атаки фашистов, когда огонь нашей артиллерии приобрел решающее значение. «Леселидзе вырвался на позицию той батареи, которая прямой наводкой была по немецким танкам. Те настойчиво продвигались вдоль дороги, шли по опушке леса, прокладывая путь наступающей пехоте. Появление начальника артиллерии еще более активизировало боевые действия батареи. Можно было только поражаться, как успевали так быстро перекачивать»

орудия из одних окопов в другие. Леселидзе подбадривал бойцов. Несколько атакующих вражеских танков окутались дымом и пламенем. Остальных ожидала бы такая же участь, если бы в это время в тыл батареи не просочилась из леса довольно большая группа немецких автоматчиков. Часть из орудийных расчетов стала отражать атакующих из леса немецких автоматчиков личным оружием и гранатами, а остальная часть продолжала вести огонь прямой наводкой по атакующим с фронта танкам. Смысл маневра фашистов был ясен — того, чего не смогли добиться огнем бронированные машины, достичь атакой автоматчиков — открыть путь своим танкам и идущей за ними пехоте. Но этому замыслу фашистов не суждено было сбыться.

Немецкий автоматчик, который, видимо, заметил полковника, вырвался вперед, на мгновение остановился и взял Леселидзе на мушку. Начальник артиллерии услышал крик своего адъютанта:

— Ложитесь, товарищ полковник!

Но, должно быть, адъютант не надеялся, что в эти роковые мгновения его командир быстро среагирует, и поэтому прыжком бросился к нему и заслонил собой. В тот же миг раздалась автоматная очередь. Оба — и Леселидзе, и его адъютант, принявший удар на себя, — уже лежали в окопе. Леселидзе сразу вскочил на ноги. Грохот танков становился все ближе...

Артиллеристы, увидев поднявшегося на ноги полковника, с удвоенной скоростью повели огонь по вражеским танкам и автоматчикам».

Внешне бесстрастно, без возвышенных слов и восторженных эпитетов, описывает М. Давиташвили этот эпизод. Он сообщает в скупых строках лишь факт, но какой силой веет от этих строк! Леселидзе раскрывается в них как жизнелюб, как храбрец, идущий навстречу опасности, любой ценой стремящийся к цели.

Подобными штрихами отмечена вся книга.

Для Константина Леселидзе фронт — будничная работа. В дни тяжелых, изнурительных боев он отдыхал лишь 2—3 часа в сутки. И в эти короткие часы передышки писал родным: «На нашей земле враг радоваться не будет». Коммунист, патриот, он делал все, чтобы не давать покоя фашистам, не падал для этого ни сил, ни жизни. У Смоленска фашисты в полной мере испытали сокрушительный огонь артиллеристов Леселидзе — он работал. В дремучих Брянских лесах, где верхушки вековых деревьев упираются в небо, Леселидзе пять дней непрерывно вел бой и вывел

из строя почти три четверти таковой армии Гудериана — он работал за эту яркую страницу в истории Великой Отечественной войны вписал Константин Леселидзе. В дни обороны Кавказа он был уже генерал-майором артиллерии. Этот этап его боевой жизни М. Давиташвили описывает с точностью вдумчивого военного исследователя. Он воскрешает то, полное драматизма, лето сорок второго года, когда фашистское командование, выполняя авантюристический план «Эдельвейс», бросило более сорока отборных дивизий, объединенных в группу армий «А», на высокогорные участки Главного Кавказского хребта.

В те дни генерал Леселидзе был назначен командующим 3-го стрелкового корпуса 46-й армии. Ставка выдвинула перед ним нелегкую задачу разгромить вражеские орды, вторгшиеся на южные склоны Кавкасиони. Отбить захваченные гитлеровцами горные перевалы, обеспечить прочную оборону, не допустить проникновения противника на берег Черного моря — таков был приказ.

Командир корпуса воевал уверенно и умело. Он говорил штабным офицерам:

— Если мы сумеем хорошо маневрировать имеющимися силами, умело используем пересеченную местность и узкие пешеходные тропинки, лишим неприятеля покоя ударами с фронта и тыла, вселим в него страх и опасение попасть в ловушку и под огонь на каждом шагу, то обязательно осилим немцев, обскорвим их ряды, обратим в бегство.

И, следуя приказу генерала, солдаты карабкались по скалам, покрытым ледяной броней, штурмовали Ужуми, укрепляя наши позиции на Марухском перевале. И хотя корпус Леселидзе был малочислен, ему удалось остановить дальнейшее продвижение врага.

Затем ставка назначила генерала Леселидзе командующим 46-й армией. Перед ней была поставлена задача: изгнать врага с южных склонов Кавкасиони и не пропустить его к Черноморскому побережью. Константин Леселидзе и его солдаты с честью выполнили приказ Родины, заперли перевалы на крепкий замок. Прочно взяв инициативу в свои руки, они перешли в наступление и полностью изгнали гитлеровцев.

Глава «Непобедимый Кавкасиони» — одна из лучших в книге. В ней автор не только воспроизводит героическую эпопею защиты Кавказа, в которой командующий 46-й армией генерал-майор К. Н. Леселидзе сыграл огромную роль, но и ярко повествует о массовой отваге советских бойцов и коман-

диров, проявлявших в боях чудеса храбрости.

3

Много волнующих страниц в книге Михаила Давиташвили посвящено боевой дружбе генерала Леселидзе с Леонидом Ильичом Брежневым. Они подружились в памятные дни прорыва «Голубой линии». Константин Николаевич командовал тогда 18-й десантной армией, Леонид Ильич был в этой армии начальником политотдела. Под руководством командарма Леселидзе и комиссара Брежнева 18-я армия навечно прославилась себя подвигами на знаменитой «Малой земле», при штурме Новороссийска, в боях за освобождение Таманского полуострова, во время высадки десанта в Крым.

«Малая земля»... Журналист Сергей Борзенко, побывавший на ней в те дни, записал во фронтовом блокноте слова, которые М. Давиташвили воспроизвел в своей книге: «Со всех сторон спешили туда отчаянные души. Тот, кто попадал на плацдарм под Новороссийском, становился героем. Трус на этой обгорелой земле умирал от разрыва сердца или сходил с ума. Там не было метра площади, куда бы не свалились бомба, не упала мина или снаряд. Семь месяцев вражеские самолеты и пушки вдоль и поперек перепыхивали землю, на которой не осталось ничего живого — ни зверей, ни птиц, ни деревьев, ни травы. Никого, кроме советских воинов».

Вот здесь, на этой искореженной огнем и железом «Малой земле» и стали насмерть советские воины-герои. Прямым организатором обороны «Малой земли» был генерал Леселидзе. И здесь, на этой «Малой земле», Леонид Ильич Брежнев говорил своему командарму:

— Солдат должен верить, что на «Малую землю» он ступил для победы.

Вместе — командарм и комиссар, они в первый же день назначения Леселидзе на этот пост ползком, по окопам и траншеям, обошли «Малую землю». И в том, что командарм всюду встречал людей, способных выстоять в самых немудримых условиях, нельзя было не увидеть плодотворной политико-воспитательной работы, которую вел политотдел 18-й армии, руководимый полковником Брежневым. Не было случая, чтобы на «Малой земле»

не находилась группа политотдела армии. А сам Брежнев непременно находился там два-три дня в декаду. «Ползком, пробираясь по окопам, читаем мы в книге, — он непосредственно проверял, что и как делается, тщательно изучал особенности партийной работы на плацдарме, беседовал с бойцами, инструктировал политработников, парторгов, комсомольских организаторов. Во время одной такой поездки катер, на котором он направлялся к «Малой земле», наскочил на мину. Взрывная волна швырнула потерявшего сознание Брежнева в море. Магросы не растерялись, каким-то чудом спасли его».

На ярких фактах и примерах, приводя архивные документы, автор убедительно показывает, сколь велика была роль начальника политотдела в тяжелых битвах на «Малой земле», в штурме Новороссийска, в полном изгнании немецко-фашистских оккупантов с Кубани и Таманского полуострова. Каждая операция блестяще готовилась как с военной точки зрения, так и политически — замечательная выучка десантников и воинское мастерство их командиров соединялись с высоким моральным духом солдат и офицеров. Это было наглядным результатом боевой дружбы командарма и комиссара.

Рожденная в кровавых боях, их дружба прошла испытание огнем. Она сохранилась до последнего часа жизни Константина Леселидзе.

4

В этой книге все правда — от первой до последней строки. Она до мельчайших деталей документальна. Автору, конечно, очень повезло — он лично знал Леселидзе, служил под его началом. Еще в 1938 году коммунист Леселидзе, в ту пору командир дивизии, прогласовал за прием красноармейца Давиташвили в партию. Но этого, разумеется, было бы мало для воссоздания образа выдающегося полководца. В течение многих лет кропотливо собирал Михаил Давиташвили для своей книги документы, письма, свидетельства очевидцев. И весь этот, по крупницам накопленный, богатейший материал, попавший в добрые руки, был пропущен через горячее сердце талантливого публициста.

Леонид РОСТОВЦЕВ

Сдано в набор 28 мая 1976 года. Подписано к печати 15 июля 1976 года.
6 печ. листов, усл. листов 8,4. Формат бумаги 80×108¹/₁₆.

Зак. № 1936

Тираж 5.550

УЭ 11301



26-1976

76-505

ბერძენული
ბიბლიოთეკა

Цена 40 коп.

ИНДЕКС
76117



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
საქ. კპ ცკ-ის გამომცემლობა.